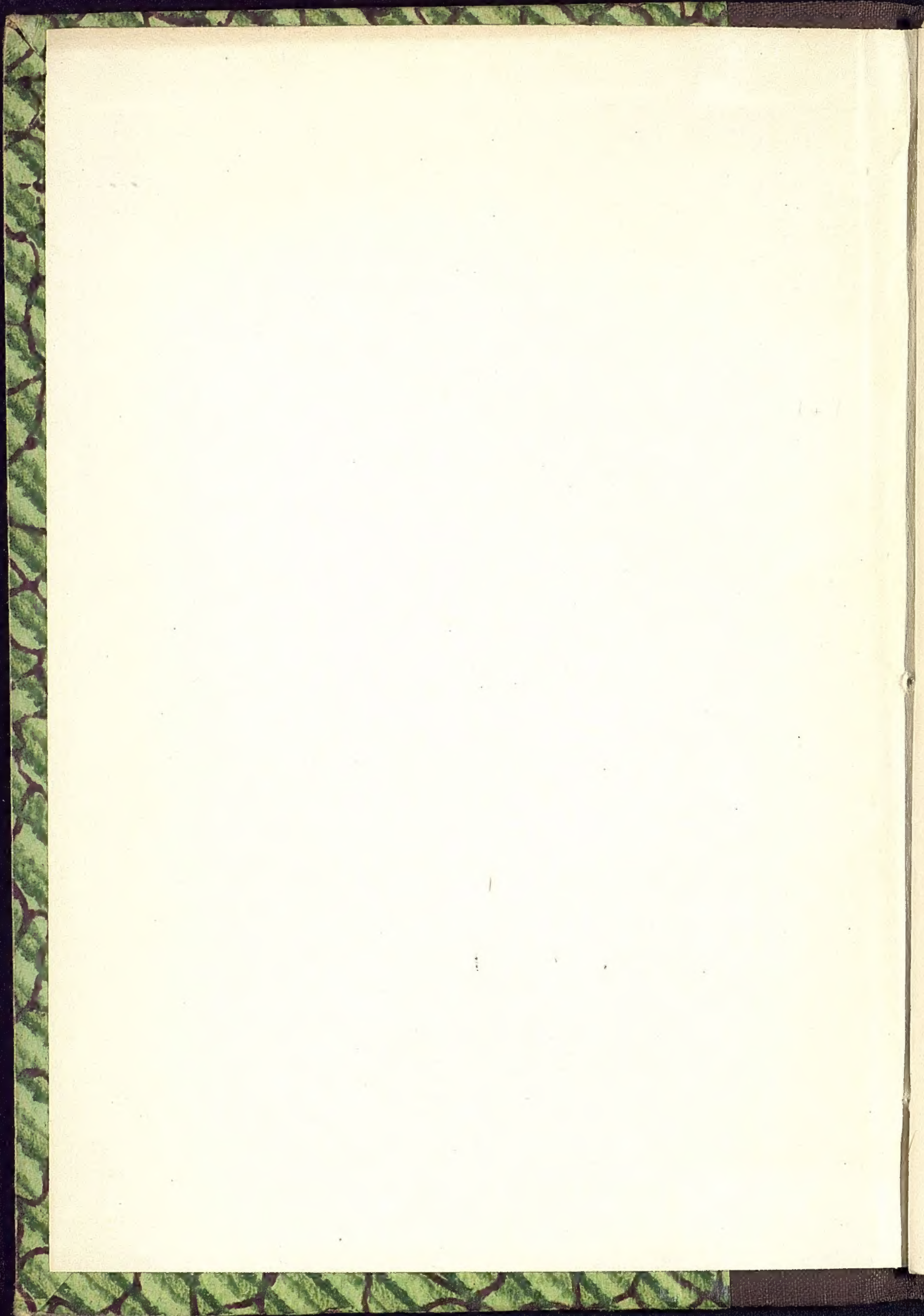
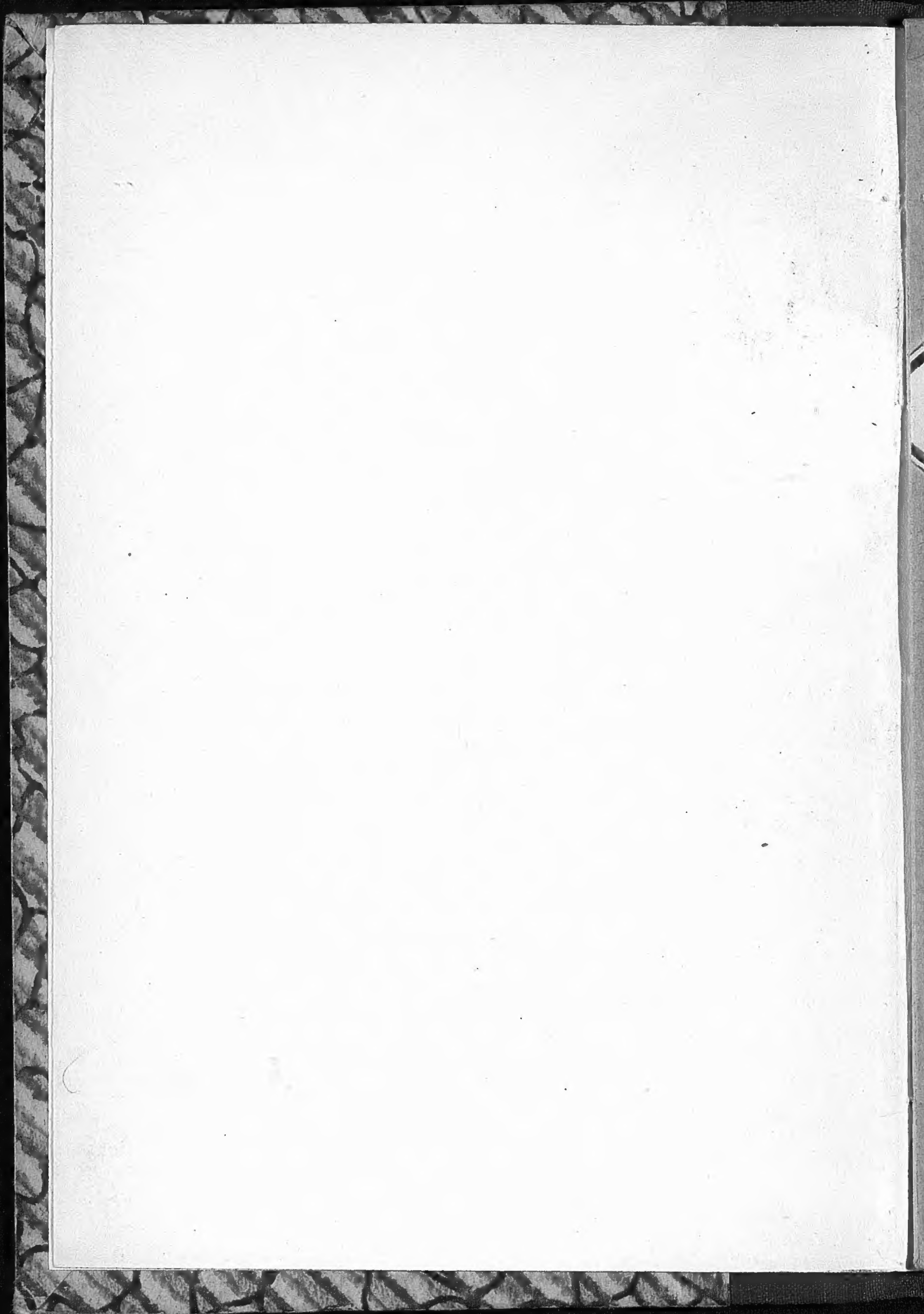


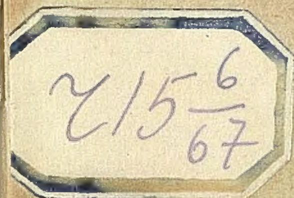




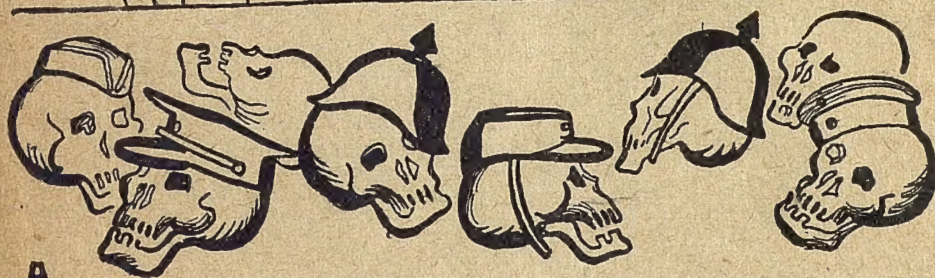
**Анри Барбюс**



# что было то будет





А

ГИХЛ 1932

НОВИНКИ ИНОСТРАННОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АНРИ БАРБЮС

# ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
С. Я. ПАРНОК





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 3 2

HENRI BARBUSSE

# CE QUI FUT SERA



1-я типография Огиза РСФСР «Образцовая». Москва, Валовая, 28.

## ОТ АВТОРА

Имена лиц, названия местностей и боевых единиц, которые встретятся в этом, достоверном во всех своих частях, кратком обзоре войны, умышленно были мной изменены.

*А. Б.*

Рядовой 231-го линейного полка, затем санитар того же полка, затем писарь штаба 21-го корпуса армии (1914—1917).

Луна погасла. У ног моих расстилалась ночь, и черная бездна трепетала глухими зарницами.

После удушливых, истязающих часов за пишущей машинкой на командном посту, под обнаженной, точно ободранной электрической лампочкой, я на миг оставил свою писарскую работу: через дверцу барака сразу рухнул я в пустоту пространства, — и вот я здесь, склоненный над ночным простором, освеженный бесконечным ветром. С высоты глинистого вала, называемого Перроном, где скрывается командный пост корпуса армии, я, хотя и не видя ее, охватываю взором длинную, сотрясаемую раскатистым гулом и усеянную метеорами долину Кленарсисса.

То здесь, то там, при мгновенных вспышках снарядов или беглого огня батарей, выступают и снова погружаются во тьму отдельные точки огромного коридора, на краю которого я примостился; клочья горизонта в каком-то громовом и тусклом хаосе; и, параллельные горизонту, сверкающие, точно отполированные отрезки бомбардируемой на дне пропасти реки; смутный остов стоящего поблизости дома, или отдаленные нагромождения, убеляемые внезапными, мгновенно гаснущими полыханьями; а иногда фосфоресцирующие волокна перекрестка дорог, которые тотчас же, с гулким эхо тонут в недрах тьмы.

Порой на горизонте громыхала огненная буря, и тогда несколько мгновений передо мной, как в кинематографе, светился экран бледных глетчеров.

Слева — на западе, так как я находился на севере — притягивали взор свистящие ракеты. Густолиственные огненные стебли стремительно вытягивались, переплетались, сгибались и рассыпали на лету блеск красных и зеленых искр, или роняли ослепительно голубой диск своей планеты из магния, окруженной лучезарными, как день, вуалями. Этот фейерверк на фоне исчерна-черных декораций силуэтом вырисовывал округлость Марейльского холма, за-

нятого совместно с нами 33-м корпусом. На другом краю панорамы, на востоке, по направлению к деревне Жиранде, под развевающимися по небу широкими плащами тени рдело вдали сплошное зарево пожара, словно вросшее в землю какими-то черными столбами, которые затушеваны были густым, в ярко-красных пятнах, дымом.

Взрывы снарядов — одни, более слабые в отдалении, другие, звучащие более грубо и металлически, — смутное, прерывистое эхо блуждающих огней и лай световых полотнищ, то задергивающих, то снова освобождающих небо, а также раскатистые удары трамбовок на горизонте, — все это порою покрывалось шумом автомобилей и оглушительным грохотом неистовствующих вокруг Перрона и моей особы грузовиков. Командный пост был центром и вихревым двигателем беспрерывного возбуждения.

Вот приблизился потонувший в вышине аэроплан, потом, распуская моток своих шумов, снова удалился, догоняемый эскортом взрывов: по этим вспышкам света можно было угадать зону, к которой он стремит свой полет.

Всем сердцем и воображением юного поэта чувствовал я волшебное величие этой ночи боя, стараясь придумать, какими самобытными образами мог бы я передать это огромное, полнозвучное озарение равнин в поэмах, которые изумили бы и привели в восторг простодушную, суеверную публику тыла.

* * *

Я успел основательно ознакомиться с сектором за эти три месяца, в течение которых я изучал его в качестве скромного писаря при штабе корпуса армии. Хоть я никогда и не отваживался побывать в нем, — так как постоянное мое присутствие на командном посту было необходимо, — вся география его запечатлелась у меня в глазах, и теперь, в фантастической тьме, я воссоздавал контуры его карты.

Весь задний фон невидимого пейзажа, который то выхватывали, то снова опускали во тьму полыхания бомбардировки, обнаруживая при этом только его огромность, занят был неприятелем. В его руках была река, что придавало таинственный и грозный вид тусклым мельканиям ее бледного призрака. Мне чудилось, будто я различаю две великих, бомбардируемых людьми тишины: тишину немецкую и тишину французскую. Я отчетливо видел разделяющую их грань.

Но в этот миг, когда я ощупью, как ясновидящий, проектировал точность топографических знаков на ночной простор, потревоженный пушками, наполненный горизонтальными мерцаниями и гулкими вспышками, под этим небом, рассекаемым с востока до запада, до самого зенита, взмахами косы тяжелой артиллерии, — грань, разделяющая долину мрака на две трагические половины, была уже не та: контуры сектора, настигнутого тучами, в этот миг менялись.

Мы ринулись в атаку в полночь, при свете луны. Жребий был брошен. «Alea jacta est!» — прошептал я. И с высоты моей обсерватории, как подобает благородному интеллигенту, каковым я и был, я не без гордости подумал о Цезаре. Мы продвинулись вперед.

Следовало ждать новых вестей. Я вернулся к себе, на командный пост.

В густом мраке, не вполне смываемом внезапной белесоватостью или внезапной рыжеватостью небесного свода, все подходы к низким сооружениям, боевому центру огромного, раскинувшегося во все стороны сектора, осаждены были каким-то шумливым людским сборищем.

Вспыхивающие огоньки папирос проектировали на черноте ночи отдельные, возникающие внезапно, как привиденья, точно нарисованные сангвиной лица, и неожиданные лучи карманных электрических фонарей вылепливали какие-то меловые группы в касках, отливающих влажным отсветом.

Я вошел, наконец, в командный пост.

Убогая, сколоченная из досок, низенькая, увешанная яркими лампами зала, обогреваемая жарко натопленной печкой. Наслоения табачного дыма, и вдоль стены, под грифельно-серыми касками, гроздьями висящие блеклые шинели, разукрашенные золотыми нашивками, золотыми стрекозами и гераневым венчиком ордена Почетного Легиона. Вокруг столов, заваленных бумагами — вся меблировка залы состояла только из бумаг — офицеры первого бюро в полном составе ожидали депеш, всякий раз, когда открывалась дверь, одновременно поднимали голову и бодрствовали самым героическим образом.

В углу, где электричество золотило его белокурую шевелюру, французские усы и галуны, блистал юный, нетерпеливый и решительный капитан Фонтанж. Рядом с ним маленький старичок в воен-

ной форме, с острым носом и острой бородкой, с седеющей шерсткой того будничного цвета, каким отличаются сукна готового платья: оставивший свою нотариальную контору провинциальный адвокат, лейтенант-докладчик военного суда, откомандированный по спешным делам, касающимся нарушения субординации, от главного состава штаба, который мы-то считали уже тылом. (Там многочисленные любовные узы связывали этого старого, поздно освободившегося от супружеского плена Дон-Жуана.) В дальнем углу досчатого, разукрашенного созвездием ламп помещения, виднелся точно вделанный в стену плоский силуэт лейтенанта Лекто, тощего юноши в очках, с квадратными, архаическими плечами и с лишенным всякой растительности серьезным лицом (сверкание очков создавало иногда впечатление улыбки, но это была лишь иллюзия); он, совместно со вторым бюро, осуществлял надзор за духом армии. Подле него груда писем, отобранных для предварительного просмотра войсковой корреспонденции, предписанного главной квартирой армии.

В глубине залы, через постоянно открывающуюся дверь, рубчатые стекла которой бросали муаровые отсветы, виднелся узкий закуток. В этом кабинете-конуре находился человек, державший в своих руках огромные, раскинувшиеся на много километров вокруг, военные действия — генерал, командующий корпусом армии. Сквозь рябь стекол, когда какой-нибудь жест выводил ее из неподвижности и поворачивал к свету, видна была его крепко вытесанная, четырехугольная голова. Перед ним на маленьком столе сверкала никелировка походной сумки и телефонного аппарата. Он беседовал с какими-то господами, которых на мгновенье, по крайней мере частично, можно было разглядеть в вогнутостях стекла.

Время от времени в темном углу, на другом конце залы, распахивалась входная дверь, пропуская каких-то, еще окутанных ночью, окаменевших от стужи, существ, которые, сперва ослепленные, останавливались на пороге с бумагой в руке, а потом, направляемые вестовым, выступали вперед по длинным, гнущимся половицам, приводя при этом в движение всю мебель и пеструю толпу переполняющих залу постояльцев. Все офицеры наперебой засыпали их несвязными вопросами, и они мимоходом отвечали, если умели ответить.

Это были телеграфисты со своими лентами, телефонисты со своими сообщениями, работники связи со своими заметками и бу-

магами, офицеры всех чинов и всех видов оружия, посланные сюда армией, дивизиями, артиллерией. Вестовой вставал и вводил новоприбывших в святилище генерала. Тот хватался за висевший у него на груди, рядом с орденами, монокль, и просматривал бумаги. Видно было, что он в упор глядит на посланного, слышен был гудящий звук какого-нибудь вопроса, замечания. Начальник штаба что-то наскоро записывал на листке блокнота. После этого посланный пересекал в обратном направлении рессорный пол унылой залы и скрывался из виду. Иногда вестовой бросался к входной двери, несколько мгновений велись какие-то переговоры, и тотчас же в ночной путь пускался гонец.

Зазвонил телефон, и из диалога-монолога генерала выяснилось, что замаскированный на «шахматной доске» пресловутый пулемет-призрак был нащупан еще до атаки патрулем сенегальских стрелков. «Браво! Поздравляю вас, полковник! Я очень рад. Видите, — на что-нибудь они да пригодны!»

После этого незначительного случая был в эту долгую ночь период, в течение которого телефон ни разу не звонил и никто не являлся из внешнего мира ни с депешами, ни за получением приказов.

Там, в незримом и неведомом, свершались великие события, а в деревянной хижине, в ответ на громыхающую вдали пальбу, чувствовалось лишь постоянное дрожание досок и находящихся в зале предметов.

Штаб создал эту атаку: теперь же, когда заварилось дело и идея где-то там, на расстоянии, уже воплощалась, деятельность его была временно приостановлена.

...Она была тут, у нас перед глазами, у нас под руками — эта трагедия, которую нам предстояло развернуть перед лицом всего мира. Я встал, подошел к лампе и к стоящему в стороне столу, — и увидал ее.

Пятимиллиметровый рельефный план.

Эта крошечная конструкция, величиной приблизительно в один квадратный метр, испещренная под сеткой номеров впадинами, буграми, знаками и красками, была не что иное, как микрокосм сектора. Это транспонировало реальность, сокращая ее в двадцать пять миллионов раз относительно поверхности и в сто двадцать пять миллиардов раз относительно объема, и давало возможность, под солнцем электрической лампочки, охва-

тить взором целиком все поле военных действий корпуса армий. Это была комбинированная, сгущенная сущность всех рапортов, фотографий, набросков, карт, заметок наблюдателей из артиллерии, с аэропланов или аэростатов, донесений патрулей, признаний военнопленных. Все это — уже откристаллизированное, точно в мозгу, в командном центре. Таким образом у нас, затерянных во тьме беспредельности, глаза были открыты и видели все.

Головокружительно-маленькая схема, показывающая нам при ярком свете лампы выхваченный из природы квадрат — прозелень лесов, прямоугольники поместий, параллелепипеды домов и конусы церквей, шнуры больших дорог и ниточки проселочных, — сразу приобщала нас к сложному механизму и мощному размаху войны.

На ней можно было видеть расположенный перед деревянным городом тыловых служб и квартир Перрон, на котором мы находились, украшенный флажком корпуса армии, — жизненный центр сектора, — где зародилась идея и откуда грянула гроза.

Начиная с этого места, развертывалась в поразительной своей миниатюрности территория войны, — изрытая полосами страна: семь линий французских окопов до параллельного им русла Кленарсисса (первая наша линия огибала с левой стороны деревню Воксавен, посередине — деревню Сен-Тро, обе принадлежащие нам, и рассекала надвое пустую деревню Жиранду), и тремя тире обозначены были три моста, которые мы, благодаря постоянной бдительности, удерживали за собой. А дальше, по другую сторону долины, семь линий немецких окопов, начиная с траншеи Одина до траншеи Бисмарка, беспрестанно видоизменяемая геометрия которых была нам знакома так же хорошо, как и геометрия наших сооружений. Намеченная цель была очевидна: переместить отсюда вон туда эту линию наколотых на булавки трехцветных флажков. Геометрическая задача, которую надо было решить, орудуя человеческими единицами, после того как закончены будут предварительные выкладки. (Подкрепления, резервы, продовольствие, снабжение боевыми припасами, распределение времени, установка орудий, прицелов, а также артиллерийская подготовка.) Работа пехоты на три четверти была уже выполнена; оставалось только двинуться в путь.

Внезапно на пороге кабинета показался начальник и подошел к нам. Все, кто спали, проснулись.

— Нормальное продвижение, господа!

Он продолжал:

— Первые объекты наступления уже достигнуты. Через полтора часа начнется вторая атака.

Он направился к рельефному плану, и вслед за ним затопотали и все мы (заковылял даже старикашка офицер, докладчик при военном суде, с еще опухшим и покрасневшим от сна, слезящимся и потным лицом). Он подозвал к себе начальника топографического отдела. Его указательный палец скользнул по бумажному месиву.

— Эту линию вот сюда, сержант, — указал он.

Вслед за этим приказанием начальника картограф переместил линию трехцветных флажков и придвинул ее к реке. Мы внимательно и послушно, как дети, с каким-то торжественным любопытством следили за этой, изменяющей местность, операцией. Мы были авиаторами, чудесным образом парящими — среди ярко освещенного пространства — на высоте шестисот метров над стройной схемой войны.

Генерал тоном добродушного малого продолжал:

— Мы двигались вперед, как по шашечной доске. Когда луна зашла, генерал Трамблэ вырыл две траншеи в болотах, до самой линии окопов. Обозначьте их здесь двумя черточками угольного карандаша. Сначала, как было написано, мы сгруппировались вот здесь. Полковнику Годи с его колониальным отрядом не без труда удалось очистить все это. Со стороны болота дело шло не вполне гладко. Мы накололи себе пальцы о нетронутые проволочные заграждения, и в этом углу, из-под прикрытия, нас здорово обстреляли (рука генерала выразительно плясала по этой области). Враг благородно реагировал, — считаю должным отдать ему в этом справедливость. В треугольнике гаммы на «шахматной доске» скрыта была не нащупанная еще мина. Мы это, впрочем, знали. Мина взорвалась, когда ей вздумалось, что несколько поколебало находившиеся там боевые единицы; это вполне понятно и простительно. Мосты были нами разобраны, чтобы отрезать возможность контр-атаки...

И генерал ногтем содрал с плана все три моста.

Неприятелю пришлось пожертвовать своим естественным прикрытием...

Только что вошедший в залу лейтенант в походной форме поклонился генералу и подал ему конверт.

— Жалоба, генерал.

Это слово прозвучало как-то нехорошо.

— Что такое? — нахмурив брови, резким голосом произнес начальник штаба. Он вскрыл конверт. 75-я батарея взяла слишком близкий прицел и помешала тем самым продвижению к литере 4-й.

— Недотепы! — сказал генерал. — Вечно та же история. Этот проклятый Бедорец никогда не принимает достаточных мер предосторожности. Никогда!

Он продиктовал приказ и отдал его офицеру, который тотчас же сделал полуоборот.

Он вынул часы и, казалось, будто он играет ими.

— Слушайте, господа! — сказал он вдруг. — Большая пушка!

Несколько мгновений сосредоточенности, — и из беспредельности вырывается чудовищный гул, который сотрясает нас всех и грохочет, точно все пространство вокруг наполнено обломками железа. Движение воздуха подхватывает наш барак и встряхивает его до самого основания, и мы наваливаемся друг на друга, как пассажиры монотонно едущего грузовика, когда тот внезапно на всем ходу останавливается. Большая пушка! У всех вырывается какое-то восклицание: мы гордимся этой, только что пронзившей нас до мозга костей силой.

Дверь залы распахнулась сама собой, и к нам, вместе с дыханием ночи и ветра, вливается оживленный шум артиллерии. Это немецкий заградительный огонь. Он должен быть чудовищен, если доносится сюда с такой силой! Дверь захлопывается. Невозмутимым спокойствием звучит голос генерала в этом досчатом, раскачиваемом в сейсмической тьме бараке, посреди которого, как некий астральный мир, сияет рельефная карта.

— Сейчас половина четвертого. Военные действия возобновятся на рассвете, в пять часов. Мы двинемся тремя руслами — отметьте деревянный мост на литере 273.06 — и перестроим уже по ту сторону наш четырехкилометровый фронт.

Он намечает предстоящие операции:

— В семь часов мы будем вот тут.

Он жестом точно подталкивает вперед наши линии, как двигают пальцем пешку, а потом целые ряды пешек. Его распластанная на ослепительной карте рука прикрывает на ней целый километр. Засим победитель, величие которого ярко вспыхивает

перед нами в этой скромной и будничной обстановке, направляется к двери. Прежде чем скрыться за нею, он оборачивается и кланяется нам, — золотой его ореол искрится.

Растянувшись на носилках, чтобы вздремнуть немножко, несмотря на неугомонную лихорадку восторга, — я вижу неприбранную залу, кружок раззолоченных, не смыкающих глаз офицеров. Можно подумать, будто это какое-то волнующее ночное бдение в игорной зале, разгромленной неистовством гостей, собравшихся вокруг разгромленного стола, по красно-черному полю которого, точно шар, катится удача.

Потом глаза мои закрываются, и мысли начинают путаться. Я думаю о своих близких, которые каждый день трепещут за мою жизнь, об успехе этого наступления, которое закончится вот теперь, пока я сплю, и о знаках отличия и повышениях по службе, которыми вознаградят всех нас, в том числе и меня, за принимаемое в этом наступлении участие. От великого грохота, которым победа выковывает для себя новый мир, до меня доносится лишь приятное, убаюкивающее покачивание. Я счастлив.

— Трашель!

Оклик начальника штаба заставляет меня мигом проснуться и вскочить: надо отнести два пакета — один на наблюдательный пункт Б, другой — командиру такого-то стрелкового батальона. Для этого придется пройти через весь сектор.

Как раз в это мгновенье гаснут лампы. Светает. Мертвенно-бледный свет струится из узких, затуманенных и увлажненных испарениями оконных рам. Тьма, как кучи земли, навалена еще в углах, где изваяниями застыли какие-то плотные массы, либо откинувшиеся на спинки невидимых стульев, либо опирающиеся локтями на призрачные, покрытые мертвыми бумагами столы. Заря грязнит, в то же время как бы обмывая их, окружающие предметы, широкоплечие, потягивающиеся фигуры, наполовину тонущие еще во тьме лица.

Чья-то черная рука открывает легкую еловую рамку отдушника. Холодный серый воздух оттесняет густую, насыщенную табаком атмосферу. Я смутно вижу металлические и холодные манипуляции какого-то согнувшегося призрака, который разгребает и опоражнивает в самой глубине барака погасшую печку.

Я выхожу. Сейчас я увижу все то, о чем было столько разговоров.

* * *

На дворе меня охватывает ребяческое разочарование: я, кому необходимо видеть все, я ровно ничего не вижу. На мир наброшено покрывало мглы. На первом плане видны лишь торчащие на фоне туманной панорамы какие-то фигуры в потемневших от сырости, губчатых, пропитанных росою панцырях. А там, за толщей тумана, шум пробуждающегося пригорода — говор, гул, погромыхивание катящейся телеги. Чувствуешь себя запертым, окруженным, и хочется разодрать нависшую там вдали белесую тьму.

Я держу путь прямо к передовым линиям.

Я подхожу к краю придорожной насыпи, вдоль которой я иду. Часовой стоит на страже перед дырой туннеля, который, как сточный жолоб, проложен под дорогой. Человек в тяжелой и широкой походной амуниции, хомутом висящей на его шее, подходит к тем, кто направляется к передовым позициям, к тем, кто возвращается оттуда, чтобы спросить у них пароль.

Это престарелый вояка. Кожаные части его амуниции и лицо его покоробились. Его шинель, которую он старается содержать в опрятности, потрепана однако дождями, ветрами, пространством и временем.

Капитан штаба, направляясь к тылу, проходит мимо старика и, подавляя зевоту, окликает его:

— Ну что, дружище, все ли идет по-твоему?

Бедный одинокий солдат, выклянчивающий пароль, зачарованный раззолоченным, блистающим перед ним офицером, может только пролепетать:

— Господин капитан...

Офицер — на лице его медленно расползается гримаса зевоты, вдруг переходящая в улыбку — прикасается к овальной бляхе, которая на цепочке висит на солдатской руке. Рука повинуется, поднимается, и солдат выжидающе смотрит на него.

— Да мы с тобою одного призыва! — восклицает офицер.

Он вытягивает из-под обшлага свою именную бляху, — привешенный на золотой цепочке драгоценный брелок.

— Точь в точь того же возраста, дружище! Мы с тобою — два сапога пара: два запасных французской армии!

— Ах! — восклицает солдат.

И как они, несмотря на разницу одежды, похожи друг на друга!

На этом грязном клочке земли, на фоне этого, скользящего над нею серого воздуха — грязь земная и грязь небесная! — меня особенно поражает их сходство. Те же черты, тот же тип, тот же рост. Но у солдата лицо сморщенное, все посеревшее, отмеченное усталостью и непостижимым увяданием. Плечи его сгорблены: можно подумать, что он — отец этому офицеру.

Он во все глаза смотрит на офицера, как будто никогда в жизни не видел высшего чина, а я, дойдя уже до другого конца туннеля, оборачиваюсь, чтобы еще раз посмотреть на него, стоящего в маленьком освещенном квадрате, в этой калитке к полю брани, как будто я никогда в жизни не видел рядового.

* * *

А дальше, точно песчаный берег, тянется унылое поле. Горизонт с той стороны, где идет сражение, еще забит ватой. Вся канонада целиком направлена в ту сторону; здесь же отдаленные ее раскаты не что иное, как большие сотрясения и разрывы воздуха — странный, пневматический и пустой голос пушки, голос, проникающий к нам прямо в плоть.

Вокруг меня обломки продавленных консервных жестянок с остатками какого-то нутра, выщербленные или местами накренившиеся изгороди, образующие как бы большие наклонные веера, каменные плиты, которым пришлось катиться с такой силой, что они стерлись, как валуны.

Здесь, в постоянном приливе и отливе сменяющихся войск, осела накипь армии, подобная той, которой расцвечивает и вымащивает город скучное кольцо своих пустырей. Эти, занимающие весь кругозор, поля обломков — гнилое преддверье топчущейся на месте войны.

Видно, что ямы, вырытые снарядами, были биткoм набиты, но шагаешь по каким-то железным камушкам.

И странно — я, кому так знакомы эти места, я их больше не узнаю. Чертежу плана, запечатлевшемуся у меня в голове, мешают все эти вновь и вновь возникающие детали, это возрастающее, бесконечное — обманчивое — наличие реальности.

Ни души среди бугорчатых, утративших свой румянец полей, где не чувствуется уже биения земных недр... Я один. Вся жизнь перекочевала вперед.

* * *

Больше уж не приходится итти без прикрытия. Отверстие какой-то норы. Через эту дыру входишь в траншею, которая и есть, должно быть, проход № 7. Вделанная в землю, весьма наклонная лестница спускает меня в сумрак, и я внезапно оказываюсь в глубине какого-то коридора, сдавленного между двумя высокими вертикальными стенами из свеже-вырытой и выскобленной земли и закупоренного сверху белым небом.

Проход глубок. В свеже-вырытой земле — геометрические отвесы обожженной каменной кладки. Вверху, высоко над головой, по краю рыхлой стены, резко выступая на черноте чернозема, тянется дерновый фриз.

Там, внутри, дневной свет, робкий даже тогда, когда черпаешь его прямо из небесного простора, затуманивается; скудные звуки внешнего мира звучат все глуше, и я, недавний узник тумана, заперт теперь в полуразверзшихся недрах земли.

Коридор вырыт последовательными полукругами, изогнутыми в противоположных направлениях (ага! наконец-то я снова нахожу волнистую линию плана), так что, продвигаясь по нему, кажется, будто все время шагаешь взад и вперед. Огромные массы земли теснятся одновременно и вокруг меня и передо мною, и каждый поворот — для меня новая западня. Проход настолько узок, что, когда я наталкиваюсь на прослойку камней, утолщающую одну из естественных стенок, или на неожиданный пень с запекшейся на нем ржавчиной, откуда свисают какие-то волокна, то меня тотчас же отбрасывает к другой стене; и вот уже плечи у меня облеплены землей.

В твердом, как мостовая, земляном полу проложены две непрерывных борозды: следы левой и правой ноги всех прошедших по этому пути людей... Башмаки мои попадают в эти колеи. Руки нащупывают тянущуюся вдоль желтых стен бесконечную выбоину, и я соображаю, что она образована трением брезента или кожи походных сумок: коридор слишком узок для солдат, и человеку приходится на каждом шагу вырываться из его тисков. Все пустынно в этом подземельи, где прошло столько полков.

Я вижу лишь сопутствующую мне наверху полоску небесного пространства, да стены коридора, которые я с трудом волочу за собой, да эти, кружащие мое тело, повороты, да пустынные следы

людских толп, населяющие этот ров. Вокруг только густой запах земли, которым я пресыщен в этом охровом сумраке, только шум моих, распыленных в огромном просторе, шагов, издали следующих за продвижением человеческих масс.

Я все иду и иду. Я думал, что смогу наблюдать или хотя бы мельком увидеть сражение. Куда там!

Внезапно, справа и слева, из какого-то широкого отверстия на меня падает свет. Это наша последняя линия, которую, по моим соображениям, я давно уже должен был миновать в этих беспрерывных поворотах, спутывающих и время и пространство. Она простирается по обе стороны траншеи, заброшенная, с широко раздвинутыми краями, грозя обвалом. Видны только между поворотами ее отрезки. Несколько зияющих убежищ, напоминающих лачуги дровосеков, скрывается в унылой насыпи, на которой, точно вехи, торчат пучки соломы. Трава на заплесневелой земле склонов побелела. На ней валяются старые окаменелые доспехи, какие-то обломки и тряпки, груды хвороста или сломанного оружия и большая, изъеденная и продырявленная временем лохань. Ни души среди этой бледной долины уныния, грязи и разгрома, дыхание которой на мгновенье охватывает меня с двух сторон.

Сбитый с толку однообразием этого подземного хода, искажающего пространство и убивающего все звуки, я, мало-по-малу превратившийся в какую-то вещь, которая устала уже катиться в вечной, кружащейся пустоте, выхожу наконец в Эльзасскую траншею. Тут-то и должен находиться наблюдательный пункт Б, и я пускаюсь в путь по этой параллели.

Все в ней сломано, продавлено, окрашено каким-то вечерним светом. Она врезана в старую проселочную дорогу. Я вспомнил, что знаю это уже по карте, в тот момент, когда увидел выступающее на уровне моей головы нагромождение рассеченного и раздробленного во время рытья этой траншеи щебня. Но я ровно ничего не узнаю из того, что знал! Да к тому же я смущен, угадывая по искромсанной толще каменного ее настила, что эта ничтожная маленькая дорога на самом деле куда мощнее, чем я себе представлял, водя по ней пальцем.

Ров глубок: за обрамляющими его темными грудами мусора не видно ничего, кроме безбрежной реки неба. С трудом шагаешь по кругликам и доскам, которые не позволяют дну раскваши-

ваться, или по рыхлому чернозему недавних оползней, которые точно опухолями покрывают этот путь разрушения. Рука шарит вокруг и находит опору в попадающихся на пути камнях или деревянных обрубках. Все это смочено каким-то черным дождем.

Траншея тянется почти что по прямой линии. Вот мелькают в ней каски, четко звучат шаги, дрожат голоса. Но это лишь ничтожное оживление, представляющее еще более яркий контраст с великими событиями, чем окружающая меня пустыня. Навстречу мне, то подымаясь, то опускаясь по обломкам, с ружьем за плечами, растопырив руки и смотря себе под ноги, идут два солдата. Наблюдательный пункт устроен внутри холма, которым вздувается в этом месте равнина. Поравнявшись со мною, один из солдат в ответ на мой вопрос указывает большим пальцем на какое-то возвышение с отверстием посередине и говорит: «Вон там».

Прямая, тесная сапа, поддерживаемая вдавленными в жирную землю деревянными позвонками, — и вот низкая каморка, которую освещает узкая, вытянутая в ширину бойница, как будто крыша потолка приподнята только с одной стороны. Стол, скамейка, сидящая и стоящая фигуры — обе спиной к свету, на фоне прямоугольного окна, темны и обведены световой полоской. Один из этих людей, лейтенант артиллерии, берет у меня пакет, просматривает его, говорит, что связь уже установлена и что все необходимое только что сделано. Он пишет это на бумаге, которую вручает мне, и вслед за этим говорит:

— Не хотите ли взглянуть на сражение?

Я подошел к световой щели в стене, и вдруг, из глубины этого подземного маяка, снова увидел все! Я снова увидел головокружительность огромных полей, которые кажутся маленькими, точно с высоты монумента.

Я снова нашел утраченную мною среди вещей меру расстояния. Передо мною над разбухшими и тусклыми травами, окаймляющими у самых глаз моих край глубокой бойницы, предстает реальный прообраз рельефного плана. Но план неподвижен, а здесь, в широкой горизонтальной пропасти, идет какое-то движение... Я наклоняюсь вперед, чтобы лучше видеть, чтобы быть повсюду.

Вот траншеи, оттененные рыжими и белесыми, полосатыми срезами почвы, земляные насыпи, точно сплющенные своей длиной, — разворотивший все поле хирургический чертеж некоего ад-

ского города... Это расположенные за насаждениями каких-то палочек, телесного или угольно-черного цвета три деревни: считая с востока на запад, громады красных и синих кровель и порыжевшие картонные стены Воксавена и Сен-Тро (там виднеются на церкви дырочки, точно от булавочных уколов, и обнаженные ребра башни); за ними лепятся крыши Жиранды, более бледные и расплывчатые, чем все остальные. Потемневшая зона берега, текучая полоса Кленарсисса. «Шахматная доска» и ее поле, разгороженное на лунки белым шнурком низких стен. Раскинувшееся на лысом и покрытом прозеленью склоне целое поколение немецких траншей, перпендикулярно прорезанных боковыми проходами, пытается скрыться и обнаруживается, ряд за рядом, на этой раскрашенной, головокружительно разворачивающейся странице. В самой глубине литера 36, последняя волна далей, длинный туманный остров на горизонте.

Внизу, приблизительно в трехстах метрах от нас, — так как несколько возвышенное расположение заросшей травою бойницы не дает возможности видеть на более близком расстоянии, — бесшумно вспыхивает батарея: глухое полыханье среди бела дня, точно огнивом высеченная из равнины искра. То здесь, то там рдеют еще другие мгновенные вспышки. Лейтенант подает мне бинокль, второй сам подносит к глазам, и я, подчиняясь прихоти своих рук, прогуливаю по быстротекучему миру вещей светлый круг микроскопа.

Какая-то цепь змеится в проходе, перпендикулярном линии окопов: каски пехоты. В соседнем проходе движение в обратном направлении — спускающаяся смена, которая служит как бы противовесом поднимающейся цепи. В параллельных окопах, на скудном фоне насыпей виднеются (коричневая, оживленная чернилами пастель) нити четок, однообразным и плавным движением тянущихся куда-то вперед. Вот эти ряды на склоне возвышенностей, которые сначала кажутся мертвым кустарником — первый взгляд не успевает заставить их пошевельнуться — эти ряды — взводы солдат; на солнце вспыхивают и снопами горят заканчивающие ружья штыки; и даже в самом конце глубокого прохода, в отдаленной клеточке сторожевого поста — небольшой отряд, сверкающий пучок штыков. Все кишит восходящим и нисходящим движением, и оно выводит в квадрате какие-то смутные живые

разводы. Квадрат этот расчищается у вас перед глазами, стоит только навести на него круг вашего бинокля. А там что-то совсем крохотное, которое куда-то волочат и которое то приближается, то отдаляется, — лилипуты, неистовствующие вокруг своих игрушек. Видно, что они бегут во всю прыть своих маленьких ножек. Они то рассыпаются во все стороны, то снова перестраивают ряды и сходятся.

— А весело орудуют там наши артиллеристики!

Иногда, неизвестно почему, бойкость их вдруг уменьшается: нельзя понять, что они делают, и это вас раздражает. Хочется дать им щелчок, подтолкнуть их своей волей.

По мере того как освоившийся взгляд переносится к горизонту, он перестает улавливать в этом голом просторе, в этой тусклости покоя что-либо, кроме сползающих вниз муравьиных рядов да нескольких чернильных точек — длинных, на мгновенье прерывающихся у вас на глазах верениц каких-то живых существ, движение и смысл которых вами уже утрачивается.

Какая-то сероватая пыль тонким слоем оседает на верхних частях плана, выравненного и нейтрализованного расстоянием. Отсюда поверхности его кажутся неподвижными. А между тем, когда снова всмотришься в них, то через мгновенье видишь, что они соскользнули с места, как бегущая по земле тень от облака.

Я с любопытством слежу за этим рассеянным повсюду, пробуждающимся в открытых венах сектора трепетом. Я не привык видеть живого движения над совокупностью вещей, я всегда видел лишь пустынные карты, чернильные кладбища.

Облокотившись рядом со мною, наблюдатель объясняет мне форму этой военной операции. Когда он придвигает голову, он заслоняет передо мною полмира.

— Мы взяли четыре траншеи: видите, — раз, два, три, четыре, — вот до того места. Но с правой стороны, у Турникета, продвижение наше на несколько часов затормозилось — богатством оборонительных средств... Спешно двинули подкрепления, и теперь наступление уже восстанавливается. Движение усиливается, видите? — и молодой человек говорит более прерывистым, лихорадочным голосом: — Глядите, вот они движутся с двух сторон по склонам. Видите, видите? Они беспрерывно выходят из-под земли!

Полнота событий рисуется перед глазами там, на рельефной карте. Почти что различаешь двойную грозу, выпускающую на волю, на просторы горизонтов, свой хаос и проявляющуюся как болезнь какими-то тайными приступами: не видно людей, которые, точно родники, пробиваются из расщелин и мягко расстилаются кругом, но видны искрящиеся над их рядами тучи. Эти оползни туч знаменами плавно разворачиваются над их строем. Не видно людей, но видны окутывающие их грозы, обрушивающиеся на них с неба горы, гибельный ветер, то толкающий их вперед, то снова отбрасывающий назад.

— У них, должно быть, ужасный заградительный огонь вот там, в той стороне, где кладбище бошей... О, этот грохот и мелкий град ружейной перестрелки... Прислушайтесь-ка! Слышите?

Там в сборе весь корпус армии целиком. Разумеется, все эти кровеносные точечки слишком уже мелки и слишком многочисленны, чтобы можно было думать о каждой из них в отдельности: даже тогда, когда видишь их, они почти невесомы для взгляда; они, благодаря своей миниатюрности, призрачны. Ты над ними; тебя держит в плену проблема их множества, воспринимаемые тобой цифры, лавины, которые они на себя навлекают. Чрезвычайно интересно сквозь беспредельность, в которой тонет грохот и которая не согревается бушующим вдали пожаром, созерцать фазы этой земной геометрии, заново слаживающейся и кое-как устанавливающейся под искристыми клубами небесных дымов.

— Ну и заградительный огонь! — в каком-то странном восторге, вызывающем блеск в его глазах и трепет в голосе, восклицает наблюдатель... (Можно подумать, что он декламирует, как актер, и я вижу его изящный профиль с длинным тонким носом, вырисовывающийся китайской тенью на шероховатом фоне просвета...) Насмотрелись мы на него с полночи! Если б вы только видели! Ночью дым обращается в пламя, как в библии. Но, обезумев, боши особенно ожесточенно старались преградить доступ к Ванкуверской равнине, по правую сторону Жиранды, у самого края сектора. Они ошиблись! Там было лишь несколько боевых единиц!

И так в почти недвижной и почти немой ясности простора возобновляется сражение. Как рок в ходе событий угадывается

всеобъединяющий план: точки схождения рядов, отдельные единицы, замысел всего целого. Над этими унылыми, столь мирными на первый взгляд, полями колдует какая-то огромная, мощная гармония. Так вот оно сражение, так вот она победа! Я снова вступаю во владение этим миром и снова, как некий гигант, поставлен на самую вершину войны.

* * *

Надо опять отправляться в путь, чтобы выполнить данное мне поручение.

Я возвращаюсь в траншею, потом в боковой ее проход, и внешнему миру опять наступает конец. Тайна целого, на мгновенье выхваченная из безграничной световой щели обсерватории, распадается на куски и рассеивается. На буксире прошедших здесь армий, обдираясь о тесные стены прохода, иду я, раб бесконечного пути.

Наконец-то я подхожу к людям. Они стоят там, вдоль стен расширившегося окопа. Я так надеялся встретить их. «Вот они!» — говорю я.

Но нет, это не они. Это не боевики. Это одна из команд территориальных солдат, починяющих траншеи. Они работают, как бы сросшись с почвой. Почва здесь, под черным слоем чернозема, известковая, и эти люди — одновременно и оштукатурены и обуглены.

Пахари войны в тех местах, где я проходил, несут на себе бремя зодчества: они-то и являются строителями этих огромных и хрупких стен, с такой легкостью обращающихся в развалины. Руками, всеми своими силами, которые должны неустанно возрождаться, возводят они с обеих сторон своего пути вновь и вновь обваливающиеся холмы.

Не все ли, кто строили, со времен строителей остроконечных гробниц на Дельте, воздвигали такие же обваливающиеся холмы!

После того как подняты песчаные пласты, ров, расцвеченный какими-то жуткими отсветами, становится уже не таким глубоким и более неровным. В насыпи, поверх каменного слоя стен, образуемого находящимися в меловой почве кремнем, много впадин. Минутами голова почти касается предела внешнего мира.

Все ближе тяжеловесный топот шагов. Шатающейся глыбой выступают передо мной два скованных вместе санитара. Четыре их руки и четыре ноги затекли от тяжести лежащего на носилках мертвеца. Я расплющиваюсь по стене, чтобы освободить им дорогу. Я вижу, как проходят они, ухватившись за деревянные поручни носилок, обернутых брезентом палаток, который внизу насквозь промочен кровью, липок, как кожа, и трется об меня. Носильщики не глядят в мою сторону. Они грузно продвигаются вперед, бледные, как слепцы, с какими-то расплывчатыми, точно затопленными, мокрыми лицами, влекомые своей ношей и сами влачащие ее изо всех сил. Провожаешь взглядом их спины, расшатанные страшным грузом, скрючивающим кисти их рук. На повороте они вынуждены поднять до уровня головы, до той высоты, где проход становится шире, свою большую бледную ношу, которая начинает раскачиваться и толкает их. Они то показываются в одном повороте, то исчезают в другом, но все время слышно, как они ворчат.

Я вижу, я во всех связках своих ощущаю это почти сверхчеловеческое усилие, которое требуется для того, чтобы нести человеческое тело, страшный груз, так быстро увеличивающий расстояние, когда идешь по этим зияющим катакомбам. Я угадываю, как мало времени надо носильщикам, чтобы достигнуть последних пределов естественного напряжения сил. И я вдруг начинаю думать о том, что туда дальше, в этих тесных и глубоких поворотах переделанной траншеи, санитары попадут в западню и что несчастное, цепляющееся за них и борющееся с их волей чудовище сможет пройти там только в том случае, если они пронесут его стоймя. Но двое хотя бы даже доведенных до отчаяния людей недостаточно сильны, чтобы пронести в таком положении одного человека, а ширина расщелины настолько точно рассчитана, что не дает возможности более чем двум санитарам нести носилки... Если же они вздумали бы подняться выше, на вольный воздух, то не успели бы они вдохнуть его, как были бы сражены пулей. И еще улавливаемый мною шум их шагов, прерывистый и отдаляющийся звук заглушенных возгласов отзываются во мне каким-то адским гулом! Сила мертвеца, одного лишь мертвеца, одного лишь человека, одной единицы... Я только что видел, что человек — это лишь точка. Люди, каждый человек...

* * *

Десять часов. Прошло уже два с половиной часа с тех пор, как я спустился в эту зверскую землю и иду по дну бесформенного и пустынного прохода.

Я внушаю себе, что вижу, как на каждом шагу норовят сцапать меня крутые повороты, как беспрестанно смыкаются и раздвигаются надо мной изогнутые линии, очерчивающие края этой вечной дыры. Тиски настолько тесны, что стенки их под конец как будто соприкасаются друг с другом и лишь постепенно пропускают меня вперед. Тяжесть стен не дает мне передохнуть, наваливается мне на плечи, сжимает горло, раздавливает меня. Я чувствую, что задыхаюсь в этом душном покое, точно под водой. Зрение затуманивается, все в глазах опрокидывается: чудится, что шагаешь вверх ногами по длинному прорезу неба.

Я не знаю, я ничего не знаю. Когда я говорил о траншеях, я говорил, ровно ничего не зная. Разве подозревал я, что в самой их инертности есть что-то неуравновешенное и сводящее с ума! О, это сплетение дорог, выпустивших во все стороны свои щупальцы, сдавливающих вас со всех сторон, таких опустошительных, опустошительных дорог! Эта система прорезанных в земле ходов искажает и заставляет разлететься в прах ничтожный и бездушный план, дурацкий план!

* * *

Внезапно проход замыкается. Резко белеет и вырастает надпись: Первая линия.

Ах!..

Я знал, что приду сюда; но ожидаемая действительность, когда она предстает перед нами, всегда для нас откровение. В ней есть какая-то значительность и чрезмерность, которых не в силах заранее отобразить наша мысль. Всякая вещь всегда только один раз является нам такой прекрасной, какой она есть на самом деле.

Я делаю несколько шагов по траншее, откуда этой ночью, при лунном свете, вырвался первый вихрь штурма.

Двумя темными заливами тянется она по обе стороны бокового прохода, и места эти — развороченные, истребленные, раз-

давленные ливнем событий, а пуще всего великим ветром, — безысходно бедны.

На склоне переднего вала правильно расположенные квадраты мешков, наполненных землею, поддерживаются какой-то фантастической, зубчатой оградой. Еловые подпорки, на которых держались прикрытия, торчат, выкорчеванные, спутанные и бледные, как кости, исторгнутые из земных недр потопом. Всюду гнилушки, древесная плоть.

Я нагибаюсь к высокой земляной волне, с густо выщербленным гребнем, которая вчера еще обозначала на равнине нашу границу. Из мокрого, как водоросли, кустарника, я извлекаю какой-то предмет и разглядываю его: у меня страсть коллекционировать всякие воспоминания войны. Внимание мое привлечено крупными, забрызганными грязью, алюминиевыми жемчужинами ракет, которыми усеян черный остов траншеи.

Сгорбившись, спускаюсь я в отверстие ближайшего прикрытия. Это — подпертое балками кубической формы убежище. На посыпанном соломой полу этого склепа, среди всяких бумажек, тряпок, продавленных и промасленных сардинных жестянок, среди четырех закопченных камней, хранится еще пепел сожженных бумаг. Я знаю, что перед тем, как ринуться на приступ, они сжигают свои письма, на тот случай, если их ограбят, когда они попадут в плен, или будут ранены, или убиты. Недавно еще они толпились здесь. Вокруг меня еще стелется запах табаку... Этот очаг, быть может, еще не остыл; я кладу руку на камень, чтобы почувствовать, дышит ли он еще теплом.

В углу резко белеет какая-то тряпка.

Отделка женской сорочки. Я разглядываю в своей руке это белое, истерзанное признание, потом кладу в угол эту реликвию, которую человек не захотел ни унести с собой туда, наверх, ни сжечь на глазах у других. Моя вымазанная углем рука запачкала ее, и я где-то, в глубине души, страдаю от этого. Я выхожу из убежища и снова бреду по обваливающимся ущельям, где земля вздымает какие-то разбитые массивы не то машин, не то костров.

Ни одного человека вокруг... Странное впечатление жизни создается отсутствием толпы в местах, откуда только что вихрем вырвалась толпа.

И вот что удивительно: здесь нет трупов. Я думал, что увижу мертвых.

Но вот запечатлевшийся на земле четкий оттиск уже унесенного отсюда тела. Ясно: здесь, как стоячая вода, стыл липкий сон мертвеца, и на бурой земле от спины его осталась черная чешуйчатая тень. Раненых и мертвецов убрали, но теперь уже повсюду я вижу кровь.

Ничто не может стереть ее. Она пропитала и покрыла пятнами тину. Эти обнаженные обвалом камни истекают кровью. Эти мягкие отбросы — точно раны. Земля сочится и разлагается, и я вдыхаю обитающий здесь и переживший смерть запах смерти. Я брожу взад и вперед, сам не зная чего ища среди зияющих рядов водоемов, рвов, опустошенных сточных ям с сероватыми впадинами, где, как ночь в вечернем сумраке, застаиваются лужи человечьего месива. Передо мной вдруг выступает обломок какого-то полого железного столба, склонившегося над верхушкой насыпи. Он водружен был здесь когда-то, и его использовали как подпорку для земляного вала. Он весь насквозь пробит пулями: он развесил в небе сквозные лохмотья металлического кружева. Он как молнией озаряет передо мною бушевавшую здесь бурю, и начинаешь понимать, какие ураганы должны были пронестись здесь, на уровне земли, чтобы так изрешетить этот железный лоскут.

Сквозь широкую расщелину сваленной стены, точно между двумя объемистыми утесами, виднеется несколько горизонтальных, затушованных полосок полей. Я стремительно прохожу мимо этого сомнительного простора.

Я сощуриваю глаза и говорю: отсюда они вышли... Прямо в вихрь заградительного огня.

Именно отсюда, из-за этих вот бесформенных и гнусных земляных заслонок, из-за этого вот откоса, толща которого спасала их и который в полумраке был плотью их плоти. Они — все до единого — выстроились на открытом месте — на баррикаде насыпи, которая, как наковальня, сотрясалась от залпов — и кинулись под колеса пространства. Можно видеть те места, по которым они шли, стремясь ускользнуть из жалкого приюта мрака, вырваться из жизни. На расшатанных или обвалившихся банкетах для стрелков четко отпечатались следы гвоздей их подкованных сапог — невероятное скопление.

А там, наверху... Я обнаруживаю вдруг глубокий оттиск разжатой руки, которая легла на землю, хватаясь за край послед-

него берега, и потом тихонько выпустила его, в смертную минуту, когда, как потоки лавы на фоне лунного пейзажа, полыхали и взлетали в воздух эти откосы. Чудится, будто среди этих развороченных развалин, вдоль стен, которые, как дюны, сливаются с пустыней, находишь отпечатки тел какой-то другой эпохи и — я отлично вижу это — другой расы. Это превращает всю землю в плоть. Я боюсь ступать по ней и думать вслух.

Я вижу, как в неисповедимой, бледнеющей от луны, лазури поднимаются на жертву все эти мученики первых рядов, с их беззащитными телами, в бледных, с развевающимися полами, одеяниях: жест, который, несмотря на слова, на вспышку наскоро в последнюю минуту придуманного гнева, а также несмотря на направленное вперед ружье с внезапно вспыхивающим на конце ствола огненным штыком, все-таки больше всего напоминает жест самоубийцы.

«Пехота выступила в таком-то часу и нормально продвигалась вперед». Это отметили там, в другом месте, перемещая, с азартом игроков, линии булавок с флажками.

Есть другое величие, другая трагедия, явные следы которой проступают вокруг и преображают весь окружающий мир, и которую я, не совсем еще ее понимая, ощущаю, как некий чужестранец, каковым я и являюсь на самом деле. Люди, живые люди, которых я уже перестал видеть за моими картами, чертежами и цифрами... Теперь-то я их вижу, но слишком хорошо вижу, и они причиняют мне боль.

* * *

Надо отправляться дальше.

Я проделываю пройденный ими путь. Но я-то защищен стенами окопа, который вырыли, когда они уже прошли, потому что до начала сражения мы находились слишком близко от неприятеля, чтобы возможно было, даже ночью, предпринять и поддерживать работы по рытью и укреплению траншей (сооружения эти разлагаются, как трупы).

Но насыпи становятся всё ниже, и впадина рва исчезает! Хотя я шагаю, согнувшись в три погибели (мне кажется, что я собственная своя карикатура), — справа и слева, в лицо и в грудь мне, хлещет огромный простор, и отовсюду надвигается на меня равнина.

А между тем вокруг — великая тишина, и на той стороне, на склоне противоположного берега реки, вдоль каменных наслоений, загораживающих горизонт, копошатся какие-то мирные толпы. Опасности нет! Успокоенный, я театрально выпрямляюсь и разражаюсь громким смехом среди окружающего меня уныния. Тем не менее я тороплюсь. Мое тело целиком выступает из узкой расщелины, которая теперь уже лишь призрак траншеи, и я стою совсем обнаженный в пространстве. Страх мой только через несколько мгновений выходит из своего оцепенения. Солнца уже нет; на всем грифельно-серый, скудный свет зимнего дня. Равнина уже не равнина, — это отлогий склон; полосы трав, стелющихся по ветру, разбросанные вехи с торчащими на них пучками волос.

Я едва успеваю заметить с правой стороны за путаницей лесов длинный низкий курган — нагромождение чего-то белого: остатки Жиранды. Ветер треплет ее полы.

Сбегающие вниз поля испещрены колодцами, в которых зеркалится вода. Всюду ямы, одни только ямы. Ясно различаешь двойной их ряд, образующий как бы отрезы двух узких каналов, где легкий ветерок рябит воду.

Это и есть первые траншеи, вырытые нападающими, те самые, которые генерал отметил на плане двумя черточками угольного карандаша и о которых он сказал, что они были сделаны таким-то генералом. Здесь-то, миновав вулканическое заграждение, барьером тянулись человеческие тела и скрылись, когда погасла луна. В течение трех часов эти тела безмолвно орудовали в ледяной воде, рыли воду. Для борьбы с уровнем воды у них были одни только маленькие их лопатки; для борьбы с бесконечным холодом у них было одно только их оружие.

* * *

Внезапно передо мной мертвец. Я не заметил его, преграждающего мне путь приближения. Я взвиваюсь на дыбы, очутившись лицом к лицу с этой диковиной. Он втиснут в бурую стенку воронки, вырытой снарядом. Он сидит на корточках: лицо его прикрыто накрахмаленным и точно окаменевшим платком. Это странно сплюснутая кучка синеватого сукна, из которой торчат два вывихнутых колена, и непонятным образом, между двумя патронташами, высовывается скрюченная, желто-фиолетового воску рука; ботинки с вывернутыми ногами задом наперед

врылись в землю. Покоясь рядом с мертвым солдатом, спит его уцелевшее ружье.

И теперь я всюду вижу мертвецов. Я вижу их столько, что мне кажется, что до сих пор я просто не умел смотреть. Их не легко увидеть. Они сверхъестественно малы. Надо находиться над ними, чтобы разглядеть слабый рельеф, которым они выступают среди травы. В трех шагах от них говоришь: «Там что-то есть»... В каждой дыре, вырытой снарядом, торчит свой мертвец, точно межевой столб, сделанный из раскрашенной бумаги. Позы у них самые разнообразные. Они упираются в поросшие травой кочки, среди которых зеркалится вода. Они лежат, вытянувшись на спине, или на животе, со скованными кистями рук и вывороченными ногами. Они точно месят руками небо, которое заволакивают тучами своих миазмов, или землю, которая от них, как от родников, становится вязкой. Они обсыпаны землей, вымазаны грязью, и жирное их тело, одутловатое, или отощалое, точно татуировкой покрыто синими опухолями. Они поднимают к нему свои испещренные ссадинами, или белые, густо набеленные лица: на лицах этих косят, подернутые мутью, белые костяные шары. Снаряды как будто потопили одних и спалили других. Ужасные серые затылки, когда сломались шейные скрепы, гневом небесным были оторваны от тела, раздроблены и врыты в землю, и головы как будто еще взвихрены хаосом волос. Есть здесь давнишние мертвецы, уже обесплотившиеся, частично уже стертые с лица земли. Над этим беспорядочно разбросанным горизонтальным населением, как ярлычки, указывающие на происхождение, развевается то синеватый, то рыжеватый лоскут.

В большинстве воронок, бок-о-бок с погребенным в них телом, торчат какие-то обломки геометрической формы, колеса или треугольники зазубренного железа. Эти ямы существовали еще до штурма. Я вспоминаю о приказе, данном нам накануне атаки: наряды были посланы для того, чтобы расставить в этих ямах кобыл с рогатками, ежей и пауков, якобы на случай контратаки, — в действительности же для того, чтобы волна атаки не могла в них задержаться. Забавность зоологических названий этих заграждений потешила нас, да к тому же такая мера показалась нам вполне естественной и разумной, — а между тем мысль раздирается на части, натыкаясь на эти западни, прикончившие агонию стольких молящих рук, застрявших на откосе.

А это что? Шесть глыб под ряд. Они совсем черные и сверкают в изломах. Они сожжены пробежавшим по ним огнем, но все же видно, что это негры. Обуглившиеся негры! Перед ними круглый, развороченный фундамент какого-то строения: коронка разъеденных камней.

Печь для обжигания извести! Я вспоминаю, что утром еще слышал, как говорили, что здесь-то находился пулемет-призрак. В таком случае... Да, это негры, нащупавшие пулемет сегодня ночью, еще до атаки. Их послали разнюхать во тьме это орудие. Оно выстрелило, когда они прошли под ним. Они собственными своими животами нащупали его.

Не знаю, как они сгорели; быть может, уже позднее, так как прежде всего они были раздроблены пулеметом, — это видно. Все шестеро расколоты, раздавлены и переломаны пополам, рассечены у поясницы: видна скопившаяся кровь, просалившая уголь их тел и темные глыбы их шинелей.

О, эти поздравления, переданные по телефону полковнику!.. «Браво! Поздравляю вас!.. Видите, на что-нибудь они да пригодны». Они еще звучат у меня в ушах перед этим отвратительным костром, в котором можно насчитать шесть лиц, точно маской покрытых густой ржавчиной, шесть лиц с покоробившимися ушами, с зияющими черными впадинами, в которых покоится пепел глаз.

Сначала я останавливался перед каждым мертвецом, как будто именно он хотел мне что-то сказать. Потом я уже перестал их видеть.

Я подхожу, наконец, к оседающим под ногами берегам реки. Все размякло под сгнившей травой. Из воды торчит несколько кольев, отливающих резким и холодным блеском, и идет запах крови и болота, болота крови! Траншея первой линии уже дохнула на меня однажды этим запахом, который исходит от крови, когда она сливается с природой.

На другом берегу Кленарсосса, куда переправляешься по качающимся толстым доскам, какие-то люди... Длиннейшая вереница сидящих на земле военнопленных, попарно связанных по рукам и ногам. Один из них, с кукольным лицом, совсем еще молодой и розовенький. На лбу у него рана, повязанная платком в желтую клетку. Рядом позевывают часовые — и, как некий персонаж оперы-буфф, неистовствует капитан, потому что он не

знает, что ему делать со своими пленниками, не говоря уже о том, что «надо же, чтобы все это чем-нибудь да кормилось!»

Я начинаю карабкаться по склонам. Воздух заметно темнеет и ниже нависает над землей. Громадное облако покрывает высоты, куда я пробираюсь по скверному окопу с неожиданными впадинами и сужениями (землю рыли впотьмах, ощупью), который кажется мне каким-то сумасшедшим. Ледяной ветер поднимается на этой коварной и порочной земле; несомненно будет дождь, и скопившаяся в ямах вода отливает сталью. Звенят и бросают отсветы снаряды. Там, наверху, куда я направляюсь, сборище гроз и колоколов.

Несколько пучков садовых растений, прилипших к земляным комьям, говорят о присутствии сада. Сквозь дыры оград видны участки, убеленные пылью рассыпавшегося дома. Лунки «шахматной доски!» Я открываю знакомые места в этом и н о м м и р е, который известен мне только по карте и по которому я плетусь в своей оболочке пешехода — как пехотинец.

Беглым взглядом, вырвавшимся у меня криком ужаса обнаруживаю я, повернув как раз в этот момент туда голову, какую-то населенную бездну, какую-то смутную, замкнутую, заштрихованную угольной грязью скважину, водопой, с торчащими вокруг него пугалами — скрюченными или во весь рост висящими на его краях существами. Порывы завывавшего здесь вихря избили до самой кости все эти головы и, как личину, содрали с них лица: я видел голубую белизну девственных костей! Тем не менее на этих остовах, как отклеившаяся, разодранная бумага, треплются еще лохмотья военной формы. Они уже рассыпались в прах в своем затвердевшем, одеревеневшем платьи: это уже какие-то стоящие дыбом гроба. У самого крайнего, наклонившегося вперед, точно вросшего в землю, осталась лишь красная повязка вокруг окаменелости головы — пламенеющий в грозовом сумраке обруч. Другой как будто качнулся и тянется прожженной рукой к железному скелету ружья: он так и остался здесь, лицом к лицу с пылающим адом, зафиксированный химией, как фотографический снимок. Скопище ужасных жертв крушения шевелится и сплошной массой покачивается на своем обломке. Одна из этих фигур легонько похлопывает руками.

Все это я увидел в один миг, проходя мимо выбоины в насыпи, на протяжении двух шагов. Немецкий наблюдатель-

ный пост, разрушенный бомбардировкой. Я тотчас же кинулся вперед, чтобы укрыться там, впереди. Мне вспомнилась красота бомбардировки, виденная мною с высот Перрона на фоне вздымающихся амфитеатром декораций, точно в мюзик-холле: эти огромные фейерверки, которыми мы так восхищались и которые мчались куда-то наугад, неся смерть этой ночи.

Впереди поднимающийся в гору участок так отвесен, что нависает надо мной, как стена. Там сеть проволочных заграждений, наполненная какими-то бьющимися в полной неподвижности существами, а позади — выпуклость, ощетинившаяся разрубленными и расщепленными кольями, да скрученная, как знамя, железная заслонка от пуль.

Я оборачиваюсь, ориентируюсь, высчитываю расстояние: это отрезок траншеи Одина, первая немецкая линия — та самая, что была отмечена у нас флажками на булавках, которые звуком голоса передвигают начальники.

Вот к этой, точно присевшей на задние лапы, местности подошли они, пешие, на рассвете, всего несколько часов тому назад. Нет прохода в этой проволоке! На подъеме, упирающемся в какую-то земляную крепость, тянутся ряды нетронутой колючей проволоки, точно насаждения какого-то питомника, и странными, грузными, торчащими предметами наполнен этот фантастический адский виноградник на косогоре.

Неправда, будто предварительно уничтожены были все заграждения, как клялись солдатам офицеры, прижимая руку к сердцу и пуская в ход торжественные клятвы и проповеднический пыл, дабы не «нанести ущерба духу армии».

Происшедший здесь гнусный случай был официально засвидетельствован и увековечен несколькими словами великого полководца: «Мы накололи себе пальцы о колючую проволоку, и в этом месте нас здорово обстреляли».

Есть какие-то окургузенные и пресмыкающиеся слова, которые говорят правду и тем не менее лживы.

Те, что дожили до этого момента, видели колючую проволоку так же, как вижу ее теперь я. Они видели орудие роковой своей казни. Вот и сейчас разлетаются вокруг и свищут пули! Если б я высунул руку, ее мигом оторвало бы этим вихрем.

Через несколько часов после того, как неприятель предупреж-

ден был об атаке, они, поднимаясь по склону, пошли на смерть. Поистине, баснословен был этот подъем! Пешком, напрямик пришли они сюда среди бела дня, но как быстро они ни шли, появлялись они весьма медленно. Они не могли ожидать, не могли представить себе спасения. Нельзя поверить, что они сделали это. И тем не менее они это сделали.

Они дышали этим смертоносным воздухом под ливнем камней, стали и пепла. Они продвигались по развороченной и жутко прорастающей под ногами земле. Они шагали по морю.

Вооруженные тонкими хворостинками ружей, с куцым, карликовым взмахом коротеньких, как руки, штыков, в одежде, столь же непрочной, как и их кожа, в шлемах, столь же ломких, как их черепа, прикрывающих убогое богатство их легких и мозга, шли они навстречу огненным вихрям, которые могли бы проломить стены. Они поднимались, неся свою кровь, которая от малейшего толчка могла бы вся, до последней капли, пролиться на земле, неся в беззащитных руках всю тайну своей прекрасной и хрупкой, как цветок, жизни. Они столкнули свою одухотворенную мыслью и счастьем плоть с грохочущей металлической машиной неба, с огнем торпед, которые с корнем вырывают землю из земных недр, они смешали слабое дыхание своего сердца с дыханием снарядов, которое, как крыло, врывается в жизнь и уносит ее прочь! Они при дневном свете видели вылетающее из митральезы короткое красное пламя и направленные на них в упор ружья, в то время как они, ремесленники войны, шли, чтобы сокрушить эти ружья штыками, чтобы руками своими заткнуть глотку митральезы, чтобы мясом своим облепить пушечные ядра.

Все здесь настолько опустошено, что опустошение оживает и взывает к вам в этом, столь унылом, столь будничном, столь сером сельском уголке. Ринуться вперед, чтобы размозжить себе голову о сокрушающую силу, — нет, это кара, превышающая человеческое разуменье! Религии объясняют это наказание первородным грехом, и это дикое по своей нелепости объяснение — единственное, которое по крайней мере соответствует огромным масштабам действительности. Я гляжу во все глаза на неподвижные ряды этих голубых предметов, и мне чудится, будто через какую-то перегородку, заслоняющую лазурь, я вижу просвет неба. Голос мой, сам собой, говорит: первородный грех покорности.

Там, наверху, в конце окопа — виднеется один из них. Смутная масса... Прислонившись к стене, стоит шинель и делает какой-то жест. Я не посмел поднять глаз, проходя мимо этой судьбы. Я видел только его ноги.

Боковым ходом пересек я траншею, национальность которой изменилась одновременно с перемещением бруствера. Эта первая немецкая линия похожа на прежнюю нашу первую линию: та же ободранная пещера, немота которой полна смятения, то же, разрушенное могуществом техники, широкое устье — все то же. Если б вам вздумалось показать образец сходства, достаточно было бы взять обе стороны какой-нибудь пограничной линии, которые отличаются друг от друга только на карте.

* * *

Я подхожу к странному, среди этих глыб усталой, умирающей земли, месту: какие-то размытые дождевыми лужами островки, в огромном большинстве совсем уже растворившиеся, соломенный мусор, смешанная со щебнем грязь. Во мне осталось лишь смутное, сосредоточивающее усталость сознание. Небо уже не что иное, как грустный дым земли, и сам я уже не что иное, как ходячая мольба, продолжающая итти только потому, что ноги переступают сами собой, и потому, что идешь так же непроизвольно, как дышишь.

Эта холмистая равнина с горбами обвалов, эта жалкая, усеянная сталью земля, окрашенная, куда ни глянь, желчью и кровью, которая уже перестала быть кровью, — кто знает, что на ней произошло! Никто этого не знает. Само безмолвие на ней мертво. Зловещий ветер проносится по ней, но не знаешь, откуда он берется. Скользит по ней какой-то отсвет серы, медной окиси. И я чувствую, я вижу, как отражается на мне этот мертвенно бледный отсвет и как маской пугала застывает на моем лице ужас.

И я, бегущий от этих мест, я, такой маленький среди окружающего меня опустошения, пытаюсь собраться с мыслями, разместить как-нибудь эту развороченную неподвижность. Но бесполезно доискиваться, где я. Иногда всякими уловками рассудка удается вообразить полноту вещей, измерить ее, схема-

тизированную планами в каком-то химерическом ракурсе, но настоящие, реальные горизонты созданы не для людей. Жалкое, обескрыленное — или искаженное перспективой — усилие созерцателя, отвергнутого пространством! Едва только взгляд тайком начинает проникать в какое-нибудь зрелище, — перед тобою лишь сменяющие и уничтожающие друг друга блики реальности, — то есть ровно ничего.

* * *

Мертвецы — главная субстанция вселенной. Вот эти, чьи обуглившиеся кулаки, вместе с запахом жареного мяса, целыми пучками, связками выпирают из боковых дыр траншеи, — эти были прокопчены чистильщиками окопов. А те, раскинувшиеся поперек прохода, продавлены посредине, потому что слишком долго шагали по их животам. Все они такие изувеченные, что кажется невозможным, чтобы души их не были искалечены так же, как и их тела. Штыки, кровавые от ржавчины, головы, заржавевшие от крови! Лица все до одного бесформенны и темны, и округлость их, какая-то каменистая от сгустков крови, внушает мне странную и ужасную мысль, что это изнанка лица!

Уже окостеневшие мертвецы, мумии с высохшими глазами, со сквозными, напоминающими теннисные ракетки руками, с головой, как блок, поддерживаемый веревками, с продырявившими рукава локтями; с тощими, как ходули, ногами, — огнем вырыты были из земли и выблеваны поверх более свежих тел, из которых, как шелковинки из выщипанного шелка, тянутся нити карминовой крови. Все здесь погребено под старыми останками, окаменело под костями мертвецов прошлогоднего поколения. Это мир, вывороченный наизнанку.

Опустив голову, усталый, растерянный, разглядываю я все, что попадается мне на пути. У них чудовищная, ледяная воля к размножению, и в конце концов, врастая друг в друга, они не дают мне прохода. Это сплошная стена. Они полны движения и между тем неподвижны. Они все время в каком-то исступлении. Они жалуются, но жалуются вечной жалобой статуи. Откуда они, из какой страны? Чудовищная гроза смыла с лица земли цвета их военной формы. С их уст срывается крик, слишком неопределенный и слишком человеческий для того, чтобы можно было связать его с каким бы то ни было языком.

Я вижу, что один из них подпирает собою всю массу, — сгорбленный и расшатанный напором той силы, с какою стремятся рухнуть вниз те, что находятся сверху.

Я вижу его зияющее дырами, сморщенное лицо, никогда не одухотворявшееся знанием, лицо с каким-то мертворожденным, уставившимся в одну точку взглядом, лицо порабощенного тяжестью ноши, обреченного не думать о себе: лицо кариатиды!

Во мгле времен на каком-то берегу видел я образ живого раба, несущего на своей спине все бремя вещей и царств. Теперь раб этот еще более раздавлен.

«В наши дни уже нет рабов. Это из древней истории». Безотчетно, — так безотчетно, что чудится, будто ветер проносит их в моих мыслях, повторяю я эти слова, сказанные однажды Слепым, Глухим, Безумцем.

* * *

Это лицо зияет посредине, около носа, вздувшейся по краям дырой. И этот щит от пуль тоже продырявлен, чтобы можно было глядеть сквозь него. Я влез на балку и прильнул взглядом к этому, похожему на отверстие гильотины оконцу, для чего мне пришлось стать вплотную к находившемуся здесь мертвецу и ухватиться за него. На разные лады стонали отраженные щитом пули. Один из таких рикошетов заставил зазвенеть железную заслонку, как гонг, и я услышал, как смачно чавкнул какой-то гвоздь, вонзаясь в дряблые ткани земли.

На мгновенье передо мной разверзлась бездна. Там, в просвете облаков, гроздь людей, сражающихся с кем-то приемами дискоболов. Противников их я не видел — я видел лишь направленную в пустоту ярость. В пятидесяти метрах на освещенном сзади грандиозном экране, в каком-то курчавящем свете, как тени на фоне утеса, выделялись гренадеры. Несмотря на расстояние, видно было, как искрится на их лицах и щеках пот. Они блестели так, как будто они в воде, среди бушующих волн.

Я откинулся назад. Я выпустил из рук мертвеца. Я чувствовал исходящее от всего его тела мертвое дыхание: его плечо обслюнявило мне рукав, — и я бежал, бежал прочь.

Я уношу в глазах и чуть ли не в пальцах моих скрюченных рук зрелище этого мельком увиденного сражения. Да нет же, это было не сражение, — это был лишь маленький, выхваченный

из него незначительный эпизод. Один или самое большее два взвода. Никогда не видишь всего сражения целиком. Оно слишком велико, чтобы человек мог видеть его иначе, чем по доступным его восприятию знакам. Оно разыгрывается где-то там, в другом месте, всегда в другом месте.

* * *

Подняв голову к небу, я замечаю, что спускается вечер. Это уже не гроза, потемневшая в своих пеленах. Это кончается день. Когда иссякнет свет, наступит конец всему. Я отлично чувствую, что теперь не смогу уже долго итти. Я измучен вконец и боюсь самого себя. Мне хотелось бы хоть кого-нибудь встретить.

Я вижу приближающегося ко мне между двух перегородок человека. Это качающийся из стороны в сторону солдат в полном боевом вооружении. Наткнувшись на меня, он оступается. Потом разражается смехом и, шатаясь, проходит мимо.

Я спрятался от этого скотского смеха, от которого разит вином.

Покорность, — ее добиваются иногда кнутом, иногда вином и алкоголем, и надо заставить ее смеяться, чтобы как-нибудь бочком втолкнуть ее в действие, в самый разгар комедии.

Я нашел офицера, которого искал. Отдохнул и пустился в обратный путь.

* * *

— Чтобы вернуться обратно, надо пойти налево, пройти берегом реки, деревянным мостом и равниной Ванкувера. Там спокойно. По этому направлению эвакуируют раненых.

Вскоре начинает моросить дождик, мелкий, сплошной.

Печальны эти, постепенно размокающие просторы, в которых меркнет день. Я, так недавно еще замурованный в земле и дыме, теперь вязну в дожде.

Я нагоняю каких-то медленно бредущих людей: это раненые.

Первый из этих эвакуированных, из этих выходцев траншей, к которому я подхожу, говорит мне: «Мы — человечье отребье!»

Все солдаты, которых я видел здесь до сих пор, — или почти все, были уже бездыханны. А эти еще чуть-чуть живы, и то, что

они как-то передвигаются, преследует меня. Глаза их еще расширены воспоминанием ужаса бомбардировки той церкви, куда все они забились. Некоторые из них говорят об этом вслух, сами с собой: «Это было ужасно. Все рушилось со всех сторон. Столбы шатались, как ноги. Раненых оставили под градом падающих камней, и слышно было, как в один миг все они, один за другим, умолкли...»

— Ничего нельзя было поделать: никто в этом не виноват! — в порыве простонародного смирения говорит один из раненых.

А между тем был сделан неправильный маневр. Их двинули к передовым позициям, вместо того чтобы двинуть к тылу! Ошибка эта, как мне сказали, пышно украсила насыпи мертвецами.

Одного за другим догоняю я этих оставшихся в живых, потому что двигаются они потихоньку и с большой осторожностью. Их становится все больше и больше.

Есть раненые нормальные (благоразумное большинство, каких можно встретить всюду): они мерно шагают с рукой на перевязи или с забинтованной головой и с привязанной к петлице каской и ярлычком. Они ни о чем не думают, чтобы лучше шагать.

Двое, поддерживая друг друга, ссорятся. Их две, соприкасающихся друг с другом ноги связаны вместе, и оба они идут на трех ногах. Пререкания и вызываемые ими вспышки ненависти заставляют их итти какими-то зигзагами, но они все-таки продвигаются вперед, потому что опираются друг на друга и потому, что связаны веревкой.

Двое других остановились. Вместо того чтобы итти вперед, они забавляются, разглядывая друг друга. Они нашли, что похожи между собой, так как у обоих у них носы отрезаны резаком молнии. Они смотрят, смотрят друг на друга — и смеются.

Слепец тоже остановился и вздыхает: «Эх! Пожить бы еще!»

Один из этих несчастных поджидает меня. Он кладет мне руку на плечо. Он протягивает мне что-то. Что это? Фотографическая карточка и карандаш. «Переделай-ка мне вот это. Хочу послать жене, чтобы не было для нее слишком уж большого сюрприза». Он показывает портрет и свое, словно обструганное, лицо, с рябой, как легкое, эпидермой. Я старательно замазываю эти человеческие черты и в это время слышу, как двое собеседников восхваляют какую-то искусную военную уловку, которая дала

возможность «убить столько народу, сколько душе было угодно». Безрукий протягивает мне свои культяпки, сверкающие свежей еще белизной полотна... О, это начало жеста!.. Он протягивает ко мне руки; они кажутся бесконечными.

Дорога наполняется тенями и гулом голосов. Вот я в толпе, среди великого ускользания сумерок. Вокруг — люди, близкие уже к последнему своему часу, довершающие свою судьбу,—и видно, как они вдруг то там, то сям останавливаются... Насмотрелся же я этих последних шагов по земле! Каждый из этих людей при приближении к нему кажется мне громадным. Не хватило б всей моей души, чтобы приютить хотя бы одного из них. Они пунктиром темнеют в вечернем сумраке, и никто никогда не сможет их сосчитать.

Вот этот примостился между двумя столбами и с каким-то подобием улыбки говорит: «Мне хорошо». Улыбка его расплывается, и видно, что он уже отлетает.

А тот, голубой от окутывающей его тени, открыл свой черный рот для зова, которому суждено прозвучать уже в пределах чистой правды.

Я слышу, как один из этих цепенеющих людей, судорожными толчками опуская голову, бормочет:

— Когда я умру, она никогда не узнает, что я умер вот здесь, между колодцем и дорогой. Кто скажет ей об этом?

— Я! — промолвил я. Вернее, попытался промолвить. Горло мое гулко отразило звук, и он как-то дико вырвался наружу, как крик, который издаешь в глубоком сне. Я протянул к нему руку, чтобы вымолить у него его имя, но он не отвечает... Он уже не дышит. Обыскать его? Я не посмел. Стоя, прислонившись среди камней, он казался мне сверхъестественным.

Скудные картины — проклятые в своей скудости — одна за другой мелькают на пути. Большой, развернувший крылья в высоте ястреб упал на меня (точно узнал во мне кого-нибудь из тех, кого похитит у него смерть), и я поволок его на себе; он остановил меня, костенеющего и врастающего в землю, наподобие тяжелого креста. Вот этот левой рукой стискивает окровавленную и потерявшую чувствительность кисть правой, не замечая, что рука его, пришпиленная к шинели, раздроблена в плече и держится на одном только рукаве. Другой рассказывает про мину: «Это было там, где траншеи — сточные канавы со спускающимися

у вас на глазах брустверами. Там-то она и взорвалась. Все бросились врассыпную. Остались там на дне, наваленные друг на друга одноколки, да две сотни красных тел, сплошная красная груда, точно вулкан. И случайно — еще бы не случайно! — в тот миг, когда все взлетело на воздух, офицеры оказались далеко позади этого стада». И собеседник отвечает ему: «Это 75-й нас убил, не только меня, но еще столько других!»

Многое скрыл от меня вечер, когда я подошел к водам Клепарсисса.

Берег был испещрен длинными, бледными, правильно чередующимися полосами. Я вглядываюсь: это трупы, связанные попарно. Голова одного из них повязана платком в желтую клетку. Я узнаю его, узнаю их всех: это немцы — военнопленные. Все они сплющены — и текут — они всюду, куда ни глянь — и из них образовался черный, впадающий в реку ручей.

В конце его что-то шевелится. Какой-то жестикулирующий силуэт говорит мне хриплым голосом:

— Меня поставили здесь, чтобы их стеречь. Но не стоит того!

И пьяница с ружьем в руках добавляет:

— Это мы, наша рота искрошила их всех. Уж больно хотелось этого капитану. Он дал нам по целой кружке рому да и говорит: «Слушайте, ребятки: это народ все лишний». Ну, дружище, и была же работа! Пришлось сшибить их с ног и навалиться на них, как на женщин. Не мало понадобилось тут любви!

Он хихикал и тяжело дышал. Видно было, как по обеим сторонам его рдеющего носа капают слезы.

Я опустил голову и пошел прочь, пьяный его опьянением.

Какой-то человек рыл яму. Он был цвета ночной мглы, так же, как и яма, в которую он наполовину был погружен.

— Что это?

— Сам видишь.

— Что же?

— Ну вот, — яма.

— Для мертвеца?

— Он еще не умер... Он, может быть, еще подремывает. На рассвете его прикончат и скорехонько приволокут сюда. Времени у меня в обрез. Это солдат территориальной армии. В

течение двух ночей бродил он по равнине, разыскивая тело товарища. На третью ночь, стоя на часах, он не выдержал и уснул. Мимо прошел полковник, и, так как ему как раз требовался показательный случай, он доложил об этом генералу, а тот сказал: «Расстрелять». Это сорокапятилетний старик, у которого трое детей. Конечно, он поступил так не нарочно. Он дал маху, да и к тому же никакой беды от этого не было. Он хороший человек, я знаю: он был мне другом раньше.

Он умолк, испуганный, точно вокруг бродила какая-то зараза наказания. Все солдаты — несчастные братья, слишком несчастные для того, чтобы брататься.

— Этого быть не может...

Человек ответил мне:

— Но ведь это для примера, — сам понимаешь. Приказ генерала, командующего корпусом армии.

Как песенка шарманки, механически прозвучала в моих ушах фраза: «Пришлось принять энергичные меры». Вот, что означают эти легкие фразы, целомудренная отвлеченность и туманность, которые стирают то, что они хотят сказать, обходят ужасную правду. Ах! Если б люди не говорили всегда, всегда для того, чтобы лгать, — а главное, если бы они никогда не отступали перед смыслом фраз, которые приходится слышать!

— Это исключительный случай! — бормочу я.

И слышу подле себя окрик:

— Исключительный? — ты заставляешь лицо мое смеяться.

Человек, сидевший в стороне, — как будто отдыхая, в полной безмятежности! — вдруг вскочил с места и одновременно с ним две, подобные ему, симметричные тени: одна, казалось, удваивала, другая — утраивала его.

— Горе нам! — размахивая руками, воскликнул он. Между двумя своими приспешниками он похож был на вещающего несчастье пророка, — он, этот носильщик, со вздувающейся на груди и на спине козьей шкурой, весь обвешанный котелками, бидонами и караваями хлеба. Лицо его обросло щетиной; нос у него был крючковатый. Один глаз был мертвый, затянутый бельмом и окружен испещренной шрамами кожицей, напоминающей шелковую бумагу... Он то и дело подносил руку к этому глазу, колотил его кулаком, тер и ворочал его рукавом или кончиком пальца.

— Не мало таких исключительных случаев, которые происходят по несколько раз в день в течение многих лет!

— Да, — промолвил его товарищ, которого одолел насморк: какой-то дождик увлажнял его потемневшее, в красных пятнах лицо; нос у него был закупорен, голос деревянный.

Человек из провиантского наряда, грузно встряхивая свою разнообразную кормовую ношу в железной посудине, начал приводить примеры, вперемешку, по нескольку примеров сразу. Он палкой указал на яму и как бы увеличил ее до бесконечности.

— Сейчас один, потом другой.

— А с Тоннелье, с другом моим, который был таким же красавцем, как и я, в ту пору, когда я еще похож был на самого себя, — знаешь ли ты, что они сделали из него, всадив в него двенадцать пуль? А тот, Альфред, фамилии которого я уже не помню? А Анжелино? Ему никогда не везло. Со дня рождения ни в чем не было ему удачи. Тем не менее, когда он отправился в отпуск, — уж не знаю, как это случилось: прямо-таки как в сказке! — подмигнула ему какая-то красивая девушка, и он, всегда такой несчастный, так уж был счастлив, что, вернувшись, пел без умолку. В тот же вечер, — он был в патруле, — когда они шли по равнине, и он все не мог удержаться от песни, адъютант — он испугался этого мурлыкальщика — заставил его умолкнуть, пырнув его ножом как свинью... А Бланки, за то только, что, завидев головную часть смены, входящую в траншею, воскликнул: «А, вот и боши!» — я сам тому свидетель — валялся на земле, опозоренный, раздавленный, как поездом, полетом пуль — и все это в назидание! — перед всем полком, с попом во главе, лепечущим а м и н ь, среди торчащих вокруг, как свечи, штыков. Приказ полковника (которого звали... как же это его звали?! Вот-те на, — позабыл его имя!) и полкового военного суда [1].

— При полках не существует военного суда.

— Что ты говоришь? Возможно. Ну, в таком случае, это был не полковой суд. Я всех тонкостей этих не знаю. А вот что я знаю, так это то, что один наш человечек, некий Белами, в ночь перед этим днем зашел ко мне — он был из карательного взвода — и спрашивает: «Стрелять ли мне в него? Если я

[1] Обращаю на этот случай внимание собирателей военных анекдотов.

выстрелю, то ему скорей придет конец. А если не выстрелю, — ну что же, значит, я в него не стал стрелять!» Думали, думали, — «конечно, тебе надо стрелять», — сказал я ему. Поплакали вместе, покачали головой: «А что, если это повторится и с нами?» — «Не беспокойся, с нами это не повторится, дружище!» — воскликнул он. Он утешал себя, произнося эти слова. Но всего несколько месяцев спустя его сразила предназначенная для него пуля — пуля, которая, быть может, была не злее тех, собственных его пуль.

— А комната, где производили допрос! Я видел это однажды, мимоходом, через люк двери... Все они так и вьются вокруг него. Все, кто держат его в руках, и с ними еще один, который все время пишет, и еще один, этакий лебезящий старикашка. «Скажи, что ты восстанавливал солдат против начальства. Скажи, с кем ты говорил. Скажи же, и ты спасешь свою шкуру, тебя помилуют». Все ложь, что говорится там, между четырех стен кухни военного суда: и этот, в свою очередь, в ближайшее утро, как жестянка с отбросами, будет брошен где-нибудь в поле. Эх! Как подумаю я об этом — эй, ты, смотри! осторожней! тут яма, — не расквась-ка себе морду! — как подумаю об этом, чувствую, что все, что я съел, начинает подниматься к горлу, как на лифте.

— А знаешь ли ты, что значит наказывать через десятого? Выстраивают полк ротами, в ряд по росту, тщательно, чтобы не было несправедливости. Затем офицеры начинают считать: раз, два — и так до десяти, и десятому приказывают выйти из ряда. Все десятые номера, одного за другим, не вместе, а порознь, уводят куда-то — и убивают. Так вот, видишь ли, предоставь теперь газетчикам, депутатам и министрам рассказывать нам о праве народов и строить цивилизацию, справедливость и республику — своими глотками!

— А Микаэль!.. Я же не говорю, что это было сделано из прихоти, ради потехи! Он был расстрелян за дело. Но дело-то заключалось в том, что он не желал убивать. Люди из карательного взвода в этот день расстреляли свое сердце, свою голову. Одному против всех, и против направленных на него винтовок, твердить: «Человек останется человеком! Все переменится! — к чему это? Ничего тут не поделаешь, ничего, ровно ничего!»

Палец провиантщика тычет куда-то в пустоту.

— Эх! Есть один такой, — он докладчик при военном суде корпуса армии. Как ты его там величаешь? Маленький старикашка. Я сам слышал, как он требовал шкуры одного солдата. Так вот, за одну лишь манеру, с какой он ее требовал, — если бы у меня было сердце или если б я стал честным человеком — я, где бы я его ни встретил, всадил бы ему в груды нож, — да, если б только я мог быть честным человеком!

В то время как он произносил этот приговор, перед моими глазами плясала физиономия старого бабника, который так смешон был в военной форме и у которого только и было заботы, что волочиться за женщинами.

И вещающий несчастье пророк продолжал:

— Это, и это, и еще многое другое, — все это, видишь ли, никогда не узнается. Никогда никто ничего не узнает.

— Все это уже прикрыто! Даже нас с тобой разделят сейчас пузырьки воздуха, и в гражданской жизни я не буду водить с тобою компании...

— Офицеры говорить не станут. Даже те, что добры: слишком уж учтивы они друг с другом. Они, пожалуй, еще скажут: все это неправда. Потому что добрые, как и все другие, ложью ведут за собой людей, и все они связаны между собою, и все бы у них разладилось, если бы на деле существовала справедливость. Ничего они не скажут. Не мало найдется сволочи, чтобы сочинять статьи и книги. И если что-нибудь в них будет выпирать, негодяи, вроде тебя, скажут: «Это исключительный случай». Не беспокойся! Они спасут войну. А солдаты — народ забывчивый. Вот это-то хуже всего: забывать! Ну да, конечно, крик живет, пока его слышишь, — но я-то заставлю тебя поразмыслить над этим. Говорят: потребовалась бы здоровая порция слабительного, чтобы я мог это позабыть. И все-таки забывают. Выпущенный на волю каторжник будет вне себя от радости, когда выйдет прогуляться по улицам, заложив руки в карманы. Так-то, дружище! Грустно забывать. Это уж последнее падение!

Это великое слово разверзает бездны в будущем...

Но он добавляет: «Мы уже к этому не вернемся. Если мы оправимся после этого дела, то для того лишь, чтобы приняться за новое. И тогда уж никто никогда не узнает, что было нами совершено. Тебе-то я говорю все это, но никто, никто ничего не узнает».

Он зажигает свою зажигалку и нагибается, как будто ища чего-то в окружающей нас свалке.

Нечистоты, окаменелые отбросы солдатского котелка, испражнения этого котелка. Разбросанные клочья белья, закорузлый носок, почерневший и вылинявший. Вот торчит крест: скелет дерева, воздвигнутый над скелетом. Вдали — стелющиеся от снарядов тучи, резкие полыхания. Усиливающийся, тяжелый, хлещущий вас по лицу запах мертвецов.

Человек шумно присел на корточки, точно встряхнули мешок со скобяным товаром; слышно, как скрипнули блоки его колен; его голова, голова курильщика, окутана дымом, как кипящий котелок. А сбоку пригнулись к земле двое других, — и тот, простуженный, у которого от насморка гудит череп.

Внезапно он освещает (мгновенно озаренная рука его дрожит) два сверкающих на земле кружка, два вправленных в черную маску, выпуклых, испещренных бороздками глаза — два полушария. Пламя зажигалки так близко от них, что облепленные землей волосы мертвеца подпаливаются. Его мертвая, его пустая рука держит газету, на которой крупными буквами напечатано название статьи: «Н а  ф р о н т е.  Р а д о с т н ы й  г е р о и з м  н а ш и х  с о л д а т и к о в». И как нарочно мертвец улыбается, ибо радость раскаленным железом выжжена на его лице.

— Каково? — рявкает кашевар. — Вот оно, свидетельство веселья!

Он поднимает голову. Его открытый рот выпускает плотный, как вата, клуб дыма. Он обращается к одному из своих товарищей:

— Разве нет?

Тот, мрачный, отвечает:

— Не знаю. Мое дело слушаться.

— Все это оттого, что мы послушны. Зачем они шагают, все эти пехотинцы, эти ходоки, которые никуда не приходят, кроме как к концу своей жизни? Зачем эти гектары мертвецов, которые оставляют в полях столько же корней, сколько вырубленный лес? Хорошо еще, что в последнюю, страшную минуту они не понимают, до какой степени сами они в этом виноваты!

— Они, начальники, правы, по-своему правы, разделяя человеческое стадо, давая деревьям мундиры, навязывая свои мнения засеянным полям. Очень даже правы, коль скоро они-то

в конечном счете и собирают золото урожая на галунах своих кепи или в своих карманах. Правее их оказались бы только те, кто, объединившись, в один прекрасный день восстали и проломили бы им голову... Не они — злодеи, а мы. Не будь тебя и меня, ничего бы они не смогли сделать. Это ты, ты говоришь им: «То, что вы осмеливаетесь ворошить в своих мыслях, я собственными руками осуществлю на деле: я — карательный отряд, я — штурмовая волна, я буду убивать своих братьев столько, сколько вам вздумается», — и ты всегда приходишь на их зов, чтобы повиноваться им. Все это всё. Война необходима, — а почему? Потому что все позволяют это говорить. У суки силой отбирают ее щенят. А мать — та отдает своих детенышей с улыбкой. Я — бедняк, который если что и знает, то только случайно. Разве ты не видишь, что всегда и всюду одно и то же, — ну-ка, признайся!

Он выплевывает мокрый, прозрачный от слюны, изжеванный кончик папиросы и смотрит на меня.

— Да, — признаюсь я.

Разве не звучали испокон веков эти слова, стучась в твердые и темные головы людей, доказывая им все те же очевидные истины, те же вопиющие истины? Этот мятущийся человек, которому слишком многое надо выкричать, который слишком поражен так явно проступающим сквозь ложь простым механизмом рабства, — он вечен, как само человечество. Этот маленький крикун, сведенный с ума высокими поучениями, извлеченными им из евангелия и публичных собраний, бесконечная революция в клетке, — ведь он все тот же, все тот же!

Он собирается в путь, встряхивается; опять скрипит, как леса постройки, и, потягиваясь, вырастая, произносит эти слова, слова великого упования:

— А все-таки, все-таки послушай меня хорошенько. Это и есть та самая кровь, о которой мы говорим, что из нее в конце концов — но еще до конца мира — выйдут вещи куда более справедливые, чем у нас. Что ж, быть может, я как-нибудь да выкручусь. Не все же мы, небось, подохнем! Тогда-то я поговорю. Уж и любил бы я себя, если бы остался в живых!

Он удаляется, неся провиант для какого-то поста. Там, около досчатых походных госпиталей, низких, больших и длинных, как гроба братских могил, черным силуэтом на зеленом фоне вы-

ступает он, сопровождаемый двумя своими помощниками. Но он идет большими шагами, он опережает их.

Теперь виден только он один. Видно, как сосредоточивает на нем всю свою ярость сильный, пронзительный ветер. Зеленоватый бенгальский огонь заката в этот миг так ярок, что отчетливо различаешь очертания его палки, его согнутый локоть и закругленную, точно обрубленную руку, потому что как раз в этот миг он трет себе глаз.

Внезапно над тем местом, где он находится, дугой спускаются тяжелые, железистые, полыхающие облака. На все вдруг обрушивается громовой грохот; нас сразу оглушает какой-то головокружительной глухотой; земля смутно колеблется: артиллерийский огонь!

Он остановился посреди равнины, почти невидимый под разодранной черной завесой и под аркадой сыплющихся из бесконечности разъяренных звезд. Я всматриваюсь в этот вертикальный, качающийся предмет: это человек, это гробница правды.

Он бегал, метался, останавливался, потом кидался в противоположную сторону. Его как будто преследовали нависающие над ним своды грохота, пыли и огненные стрелы молний. Мне казалось, что я вижу, как прикладывает он кулак к глазам, как простирает потом руки, и в одной из них — его палка — посох слепца. Он искал ямы, в которую можно было бы нырнуть! Что-то огромное, отсвечивающее добела раскаленным железом рухнуло на этого бегущего в развевающейся шинели человека и поглотило его, вместе с полоской земли, на которой он метался. Вслед за этим донеслось до моего слуха гулкое эхо взрыва, и после того, как человек был уже уничтожен, я услышал его пронзительный, живой крик! Этот необычайный, потусторонний зов, этот сверхчеловеческий вопль существа, внезапно отдающего все, что в нем было, на мгновенье заставил зазвучать во мне другую душу, преобразил меня с ног до головы.

* * *

Огромная, туманная, трепещущая толпа, или вернее — хвост, самый конец этой широко раскинувшейся и исчезающей вдали толпы. Общая масса ее неподвижна. Я приближаюсь к крайним точкам, к пределам этой большой смены. Человек, к которому

я обращаюсь, — один из тех, кто замыкает собою эту живую, движущуюся равнину, — говорит:

— Вот уж шесть часов, как мы топчемся на одном месте.

Затем он изрекает фразу, похожую на те, какими пользовался человек, показания и совесть которого были развеяны на все четыре стороны:

— Каждый день одно и то же, и так в течение многих месяцев, многих лет.

Лица у всех изможденные и на них изморозью застывает пот. Они тяжело дышат. От долгого стояния они начинают хрипеть.

Со временем не считаются. Ни с чем не считаются, кроме как с тем, чтобы переместить с этого вот места на то ряд флажков на булавках. Чтобы иметь успех, надо быть расточительным. Так и говорит наше высшее начальство. Кто-то из них, или из еще вышестоящих, сказал: «Расточительность-то и расстраивает игру случайности и перекидывает мост», а также обеспечивает спокойствие начальству. Не будь в их распоряжении этой самой расточительности, все до одного они немедленно, позорнейшим образом были бы арестованы. Это проматывание времени, денег, человеческих жизней, безумный избыток ценностей в ребяческих руках хозяев, — вот что и затыкает все прорывы, стирает все ошибки, исправляет неправильные маневры. Война держится не тем, что она хорошо слажена — она дурно слажена, — а тем, что она ведется в кредит и целиком опирается на будущее, на пустоту, тем только, что не считают и что слишком много людей.

Я лишь мельком видел подымающиеся в гору войска, — эту, остановленную собственным своим приливом, упершуюся в живую свою стену массу. Они молоды, они страшны, это какие-то непонятные великаны, которые кажутся еще больше от налипшей на них грязи. Их офицеры тоже все в грязи; они похожи на них, они смешиваются с их толпой. Они ничуть не похожи на штабных офицеров, которые никогда не спускаются сюда со своего трона. Но позор, позор всем им, — всем этим послушным людям!

Во время сбора, уносящего их ряды, кое-кто замечает меня. Они презирают меня за мои расшитые клейма бюрократа. Проходя мимо, один из них приподнимает, как котелок, за краешек свою каску и говорит:

— Виноват, мосье!

Другой злобно шипит мне прямо в лицо:

— Шагаешь, потому что по-другому поступить не можешь, — вбей это себе хорошенько в голову, чурбан!

И вовлеченный в толчею человеческой упряжки, где сталкиваются вьюк и ярмо, он оборачивается и еще что-то выкрикивает мне вслед. Я вижу, как открывается его рот — точка ночи в сумерках. Но порыв ветра уносит вдаль его слова, а вслед за этим своим рядом — бороною дисциплины — гнусным послушанием унесен и он сам.

Они презирают меня, меня — представителя штаба, но ясно, что они все-таки меня побаиваются, потому что штаб означает командный центр, а они — рабы. Все мысли их известны. Их исповедуют так, что они и не подозревают об этом, путем шпионажа. Они больше, чем полагают, находятся во власти тех, кто ими руководит. Методически выработанными приемами накладывают руку на их мечты, которые осмеливаются тянуться к родине, к домашнему очагу, и на тех, кого они избирают поверенными своих тайн: выкрадывают и читают их письма, такие богатые и убогие письма.

Так же, как видел я на этой гладкой равнине трепещущий хвост поднимающейся смены, так мимоходом соприкасаюсь я теперь с водоворотом спускающейся смены. Это те, кто так или иначе принимали участие в атаке. Они состарились за эту неделю, проведенную на обнаженном краю сектора, покрылись тем особым грязным налетом, который дает война. Бедняки, сохранившие свою чистоту, — поистине святые.

Вокруг фургона и старой лошади какое-то сборище, споры. С тяжелыми свертками в руках теснятся вокруг фургона люди. Они надеялись, что им удастся положить свои патроны, двести штук патронов, от которых разламывается поясница, в полковой фургон, что в этих местах считается допустимым. Но возница — пот проложил мокрые темные бороздки на его рябом лице — потрясает руками и указывает им на лошадь:

— Поглядите на нее. Я тяну ее за морду. Она больше уж не может; она слишком устала. Ведь лошадь-то одна... А вас сотни и сотни.

Они глядят на лошадь, которая шатается на своих бело-серых, цвета скелета ногах и опускает голову со старой, стершейся кожей. И тут все они замолкают, внимательнее всматриваются в нее и говорят: «Эх, старина!», точно вдруг узнали

это с трудом влачащееся существо. Каждый из них кладет свою ношу обратно в походную сумку и с убогой радостью возвращается на свое место.

Как растения цвета гранита в бретонских ландах, как ряды менгиров[1], вытянувшиеся на глазах людей Номеноэ и Конан Мериадека, видны необозримые ряды лошадей. Дождь поливает их... Слышно, как барабанит по их бокам вода. Они стоят безучастно.

— Вот уже четыре дня, как они здесь. И чего только думают? — говорит их угрюмый, обернутый плащом ливня страж.

Там, не шевелясь, точно вросшие всеми четырьмя ногами в землю, привязанные к колышкам закорузлой веревкой, стоят они, искалеченные, разбитые — суровые призраки с окаменевшей головой, с потертой и продырявленной попоной кожи, которая на выступах костей сочится кровью.

При виде огромной их неподвижности, все, что казалось реальностью, окончательно распадается на ваших глазах. Их невинность еще более вопиюща, чем невинность людей. Им-то что за дело до того, какой эпитет приставят к Эльзас-Лотарингии и чьи султаны будут победно развеваться, что им за дело до договоров — слава с лицевой стороны, коммерческие махинации с изнанки, — из-за которых истекает кровью, приходит в негодность и превращается в навозную кучу их тело! Что им за дело до того, как зовут тех, кто на противоположной стороне?

На сумрачном лице их стража, разделяющего их молчание, прочел я свои мысли.

И еще одна общая черта: кто бы ни возвысился и ни начал командовать, они сразу, все вместе повиновались бы ему. Они готовы слушаться первого же окрика, первого же рявкания!

«Военный героизм» — пишут в газетах и книгах. Эти задумчивые призраки доказывают, что такого героизма не существует, что это добродетель, которую, забавы ради, выкраивают наудачу из какого-нибудь клочочка огромного страдания.

Больше, чем сами люди, похожи они на человека. Но они, если бы вдруг оказались свободными, пропали бы; люди же, если бы они были свободны, нашли бы, наконец, себя.

[1] Менгир — один из видов доисторических памятников, — каменный столб. (Прим. переводчика).

Мост из поваленных деревьев. На внутренней стенке моего лба вдруг вычерчиваются и отпечатываются цифры: 273 06. Я произношу их вслух и, услышав себя, вздрагиваю от удивления, почти что от стыда: это замечание, сделанное на полях реальности, в то же время название местности, которым обозначил ее наш начальник, создавший этот мост простой отметкой на бумаге, предварительно тремя росчерками ногтя уничтожив все другие.

Я шагаю по более твердой дороге. Почва как будто покрыта войлоком, но набегает луна прожектора и повсюду скользит своим полярным светом, который сверкающей изморозью задевает и меня. Земля вокруг усеяна световыми кристаллами и искрящимися осколками. Мне однако удается разглядеть, что я шагаю по раздавленным телам: стрелки-пехотинцы. «Боши обстреливали долину Ванкувера, но они ошиблись. Там было всего лишь несколько боевых частей». До конца дней моих будет преследовать меня кощунство слов! Я вспоминаю, что заметил знамя этого батальона на параде, где генералы роняли звучащие музыкой жульнические слова: «Всех вас через три месяца отпустим по домам», гарцуя при этом перед карэ выстроившихся войск — озаренная солнцем кадриль.

Немец и француз дрались, чтобы не быть утопленными друг другом в земле. Вцепившись друг в друга, они застыли в неразлучном молчании, эти два опаленных орла. И между ними сходство, которому уже не будет конца. Они до ужаса похожи друг на друга. Когда же, наконец, изобретут способ показать на огромном экране неба это сходство? Я слышу в себе музыку, которая звучит одновременно и похоронным маршем и гимном войне и которая прекраснее всего, что я мог до сих пор себе представить. Когда же наконец мы выйдем из той поры, когда мундиры окрашивают своим цветом кожу людей?

Вокруг меня совершенно плоская местность: поля, поля свекловицы, брошенной в земле, вымершей и, как гланды, разъеденной гниением. Густое заразное дыхание этого туберкулезного поля бросается мне в голову.

Дорога грязная, развороченная, теснящая меня своими колеями, напоминает въезд в деревню. Судьба как будто приводит меня к чему-то уже не существующему: мертвая улица, мертвая деревня.

Шум колес, свист кнута, ругань — и, пересекая пространство, где я бреду по этим жалким остаткам дороги, справа налево проносится и исчезает из виду кузов громыхающей тележки или артиллерийской повозки. В ней бьется какое-то связанное существо. Это мертвец, чудовище странной, фосфоресцирующей бледности. Я вижу, как оно, прижатое к стенке скоростью движения и подскакивающее на ухабах, проносится мимо.

Начало деревни погребено под пеплом. В самых божественных поэмах отчаяния, в самых величественных картинах, когда-либо вверенных великими поэтами бумаге, нет ничего ужаснее этого тусклого пространства, в котором ноги мои то-и-дело наталкиваются на какие-то рифы. Курган всяких обломков, оставленных лагерями и проходившими здесь обозами; как везде, как всегда — кости, очистки, утварь, продырявленная долгим употреблением или разбитая и колющаяся; острые черепки, заржавевшие гайки. Вокруг этого животного и минерального настила играют мальчишки. Нет, детей уже больше нет; это призраки...

На площади лужа с квадратным фонтаном посредине. Этот сам себя потопивший фонтан находится в обществе обломка какого-то дерева. Сломанная колонка ствола, уже не увенчанного навесом листвы. В родной моей деревне было дерево, очень похожее на это, с нишей и стоящей в ней богиней, чье голубое безмолвие соответствовало молитвенному настроению...

Это та самая деревня. Да, это она. Я знаю, где я нахожусь. Холодно. Я никогда не уходил отсюда.

Все дороги приводят сюда. И их вполне можно разглядеть в этой пустынной, ободранной местности, все эти безлюдные, кишащие безмолвием дороги, — дороги, по которым ушла жизнь и пришла смерть, дороги, которые никогда не приводят к добру.

Это тело — с раскидистыми, странными, выходящими за пределы жеста движеньями—было вырыто из земли крючковатыми вилами молнии и перемешано с сухими ветвями. Но не все ли ему равно! Хрупки уже не тела, а их могилы.

Ограды участков разрушены и увешаны рядами бледных тел. Некоторые развалины совсем белые и еще свежие; на другие пожар наложил отпечаток своего великого сумрака. Деревья? Вот одно из них, огромное, растрепанное, вытягивается передо мною, потом вдруг вздрагивает и, сгорбившись, убегает прочь.

А между тем вокруг почти нет пальбы, нет никакого движе- ния, все замерло. Я с сожалением думаю о мертвеце, который галопом промчался мимо и оставил меня одного. Все рельефы, все покровы черны. Это час дня, — нет, это час судьбы, когда все облачено в одинаковые черные мундиры.

Дома, целыми рядами, обвалились в подвалы и сады. Дома теперь уже склепы домов, окруженные решетками, — планы до- мов, которые можно только угадывать; вы видите, что пере- ступаете порог, но ничто не говорит вам об этом.

Она сохранила еще свой фундамент, неукоснительность рамки, острые свои края — эта выброшенная сама из себя комната, вместилище холода. Я продвигаюсь по ней, неуклюже, медленно переступая ногами, вытянув вперед руки, обнимая в ней пустоту всех пустых комнат сразу. Скорбь ее так велика, что я ощущаю ее, как свою личную скорбь.

Развалины населены трупами. Груды их создают видимость живых человеческих групп. Я сажусь на камень. Когда устаешь страдать, испытываешь какую-то умиротворенность. И тогда тьма приносит с собой подобие света, и безмолвие приносит с собой голоса. Те, что пребывают здесь, совсем не те, что жили здесь постоянно, так как это солдаты (а солдаты — всегда при- шельцы во всех домах, даже в собственной своей семье), но как похожи они друг на друга, — все эти великие незнакомцы!

Здесь была кухня (обломки каменной плиты, точно обломки алтаря, и снегом посыпал их обвалившийся потолок), здесь тем- ница целой груды овощей: вот лук-порей — большие берцовые кости с нитяными бородами на конце, и томаты — бурдючки, на- полненные окрашенной влагой — и напоминающая полушария моз- га цветная капуста, и длинный огурец, выдерживающий все это на своей свежей, бугорчатой, как у крокодила, спине, и котелок со своей тонкой, покрытой глазурью мокрой губой. В стороне виднеется алое платье кухарки и слышится мудрое шипение запертого в печи огня. А там, в комнате, молодые супруги; мебель совсем новенькая, как восходящее солнце.

На полу трепещет какое-то письмо. Солдатское письмо: эта бумажка наверное была загрязнена и опоганена иезуитами в мун- дирах, холодными их руками, оплетающими сознание масс.

Тела, окружающие мое тело, одно другого уродливее. Среди этих красок тления я вызываю в своем воображении интимную

ночь, которую готовил в этой комнате вечер. В холодной, как северный ветер, белесоватости вызываю я теплые розовые тона; нагое тело женщины сквозь дымку покровов.

Я чувствую запах фиалок. Где-то внизу, в самой гуще сумрака, пучки живых, мыслящих цветов. А на разрушенных камнях вьюнок совсем завил крапиву.

Долго просидел я так, погрузившись в грезу... И вдруг чувствую, что меня держит чья-то рука; этот сосед не был еще мертв, когда я пришел сюда, и он умер, держась за меня, так как в руке у него зажата пола моей куртки. Я разнимаю его пальцы. Он всей своей массой откидывается назад. Когда на ваших глазах умирает человеческое существо, то вдруг начинает казаться, что вы каким-то чудом знали его и с давних пор любили.

Вот у этого рот открыт. Ясно, что он кричит. Я приподнимаю его! Тяжесть его говорит мне о силе его нежности, которая царила в кругу его семьи.

А тот, в углу комнаты, затопленной пространством, комнаты, из которой силой выхвачено все тепло, — тот совсем голый. Виден его живот, его органы. Видно даже то, что внутри живота: видно, как трепыхается и поблескивает спрут его кишек.

Он похож на всех. Я слышу его голос. Что говорит он? То же, что говорят другие голоса. Он говорит: «Ты»...

Да, каждый из нас, рано или поздно, будет убит. Но все мы созданы, чтобы жить как можно дольше, и однако же к развалинам, населенным убитыми, пришел я, не сворачивая со своего пути, в сумерках сегодняшнего дня, в сумерках веков...

Вдоль улицы навстречу мне выступает какое-то высокое, черное видение. Это — женщина в трауре, вдова, мать в длинном черном покрывале. Лицо у нее страшное, ужасающе белое и искаженное гримасой, как лицо самой смерти. Но белизна эта не что иное, как носовой платок, который она прижимает к лицу, чтобы насколько возможно отделить свою скорбь от внешнего мира. В сплошном мраке этой фигуры белеет только это тусклое пятно.

Я направляюсь к ней. Бугры, которыми полна эта развороченная местность, заставляют меня итти зигзагами. При моем приближении она становится бесформенной, распадается на части, и душа ее становится ветром. Это уже не женщина, — это куст с двумя повисшими на нем и развевающимися тряпками — темной и белой: ничто уже не шевелится здесь, кроме вещей. Это

только иллюзия. Она не здесь, эта женщина в трауре: она всюду. И всюду за нею переносится мой взгляд. Она не иллюзия, — она, со своей плотью кающейся грешницы и мученицы, она, со своими израненными коленями, ударяющимися о каменные плиты с глухим призывом, как бы для того, чтобы приоткрылся перед нею, наконец, мир мертвых. Столько солдат и столько матерей, выстрадавших их появление на свет — и все это ни к чему; столько женщин с бесполезно разъятым чревом, которые, как безумные, даже не ведают о безобразии своих покойников. И никто никогда не сможет постигнуть числа убитых.

Всюду дорога изрыта следами ушедших. Всюду уведен отец, — тот, на ком держался весь дом. Как только ушел он, дом начинает шататься и рушиться. «Так надо!» — «Да!» — «И надо еще улыбаться: это прекрасно!» — «Да!» Всюду, как в былые дни, идолы. Тотэм орла или петуха. Наша цивилизация — только ложь и слова. Немцы, французы, все названия людей — все это лишь слова и ложь.

Как ни стараюсь я убежать, зловоние нагоняет и овевает меня. Наступает конец мира. Мир, изнуренный войной, находится при последнем издыхании, несмотря на упорную волю к жизни, таящуюся в широких народных массах. Все имена собственные обращаются в названия битв, в названия того или иного разрушения, поражения бедняков. В городах на каждом шагу встречаешь возмутительную вывеску преступлений побед.

Со времен потопа все усиливается поражение человеческой массы. Такова форма самоубийства, которую принимает конец мира в глазах беглеца, когда в нем оживают воспоминания бойни, и он, опустив голову, разглядывает свои темные руки, и ему кажется, будто они покраснели.

Воспоминания моей скудной жизни осаждают меня. Старик, трясущийся от холода у печки в своей жалкой каморке, — такой, какие насчитываются миллионами, старик повторяющий: «Человеческих жертв больше нет!» — ничтожный, мелкий, близорукий обыватель, преображающийся при этих словах в какого-то вредного зверя... Отец мой, почтенный учитель, разглагольствующий о священных требованиях расы и делающий для меня слово «мы» самым ненавистным из всех слов. Моя мать, сиделка, украшающая добродетелью идею войны... Я проклинаю всех их, проклинаю отца своего и мать!

Вот уже совсем близко Перрон, святилище, которого никогда не обстреливает неприятель (взаимное молчаливое соглашение).

Мне осталось только пересечь наполненный гудением и силуэтами пригород наскоро слаженных бараков, который в огромном этом округе образует как бы ярмарку, разрастающуюся каждой ночью новым каким-нибудь ответвлением: походные госпитали — красные кресты, нарисованные штыками на покрышке бараков; конторы, склады, интендантство, этапные пункты, мастерские, технические отделы, всевозможные дополнительные службы, — искусственный деревянный и бумажный город, где сосредоточивается, регистрируется и размножается индустрия разрушения, — город ползучего рака.

На карауле вооруженные негры. Завидя меня, они делают вид, будто хотят надеть меня на вертел и, со смехом, двигают челюстями: «Французский солдат!» Они расставлены здесь, на рубеже военных действий, чтобы препятствовать утечке человеческого материала, — то есть, чтобы убивать тех французских солдат, которых они увидят. Я миную этот ряд закованных в цепи и спущенных с цепи чудовищ, погромыхивающих своими стальными когтями и мрачным смехом. Один из негров, самый крайний, кашляет. И лучше его самого понимаешь, что означает этот кашель. А вот эта физиономия, со ртом, до такой степени раскрытым зевотой, что похожа на бронзовое кольцо, — ее-то я знаю испокон веков; меня нисколько не обманывает цветная мишура, сменяющаяся с веками на медной статуе раба.

Я возвращаюсь в лачугу командного пункта.

В суtолоке победы к начальнику привели пленного: неприятельского шпиона — офицера, который переоделся французским солдатом и пробрался к нам. Так как он офицер, его, из вежливости, на честное слово оставили на свободе. Он снова овладел прежней своей офицерской осанкой: все частицы его тела крепко слажены друг с другом, он являет собою суровый образец почтения к установленному регламентом положению, он аристократичен и шикарен (господа из первого бюро вполголоса отмечают это) в своей скромной одежде бедняка.

— Я буду великодушным игроком, — говорит генерал, — я вас помилую!

Во время своей речи начальник лихорадочно ходил взад и вперед. На мгновенье спина его затерялась среди других спин,

и я спутал ее с чьей-то чужой; потом он снова пустился шагать. Почему он является деспотом и распределителем жизни и смерти, именно он, — этот старый господин, с таким дюжинным лицом, печально напоминающим стольких своих современников?

— Благодарю вас, генерал! — на чистейшем французском языке, голосом, в котором сквозило совершеннейшее сознание иерархии, ответил немецкий офицер.

— Вам нечего благодарить меня, обер-лейтенант. Я лишь сообразуюсь с рыцарскими традициями Франции.

Волнение, кокетство. Они обменялись беглым взглядом — они не могли удержаться от того, чтобы провести друг между другом маленькую соединительную черточку — эти двое людей одной и той же породы, принадлежащие, как видно, к той же категории актеров мирового театра.

Капитан Фонтанж, всегда изящный и пылкий, воскликнул:

— Он был отважен, этот бош, а я превыше всего ценю отвагу. В конце концов, нам нужны благородные враги!

Он грызет удила, он бьет копытом, — галло — французский конь! Я заметил уже, что чистейшими образцами оригинальности тех или иных народов являются их шуты, и что нет лучшего средства выявления национальной характеристики, чем карикатура

— Это еще трогательнее, — нашоптывает мне в углу один из товарищей, — чем тот момент, когда генерал собственноручно передал крест офицера ордена Почетного Легиона полковнику Малену, который во что бы то ни стало хотел, чтобы его полк назначен был к выступлению в область треугольника гаммы, где, как известно, приготовлена была мина; миной этой убито не больше не меньше, как сорок семь человек, — это, небось, стоит красной розетки! — и трогательнее, чем тот момент, когда генерал облобызался с генералом Бедорецом, командующим артиллерией, чтобы показать, что он уже не придает никакого значения всем этим толкам о преждевременной стрельбе 75-го полка, так как критика эта явно раздражала славного Бедореца. Генерал не может считаться ответственным за все то, что по его приказу делают шиворот-навыворот. Он отвечает только за удачные результаты, не правда ли?

В ярко освещенном углу генерал диктовал официальное сообщение:

— Мы понесли легкие потери. Точка.

Молчание. Сами-то они счастливы и легки от этих легких потерь.

— 2500 человек, — вполголоса замечает начальник штаба, в нерешительности останавливая свое перо.

— Ну, это, разумеется, многовато... Хотя это и немного.

Кто-то пускает в ход избитую фразу, которую во время войны чаще всего твердит себе высшее командование:

«Не разбив яйца, не сделаешь яичницы».

— 2500 человек? — говорит генерал. — Не пишите этого. Напишите: 1500, — пусть будет так. Этого вполне достаточно.

Такие странные слова показались бы шуткой, если бы они были произнесены где-нибудь в другом месте, а не в этом святилище. Мы отлично знаем, что отступления тут не будет и что цифры эти действительно останутся окончательными, историческими цифрами, которых никто никогда уже не сможет изменить.

Меня раздражают эти люди. В былые времена, под диктовку своих настоятелей, событиями распоряжались монахи. Милитаризм подражает религиозным махинациям; но в еще большей степени военные напоминают людей в сутанах своими лицами и мыслями.

С враждебной холодностью, с большой ясностью мыслей наблюдаю я за ними всеми... Вот английский офицер с его личиной чистоты, сверкающий прикрепленными к мундиру трофеями, лейтенант с таксиметром на груди. А там, подальше, в кругу начальства, какой-то незнакомый мне офицер, тоже обшитый галунами, увешанный орденами, блестящий, очаровательный, который очень волнуется, смеется и громко разговаривает. Я улавливаю только конец его разговора с начальником штаба, который перед ним кажется почему-то растерянным. Вскидывая руки к небу игривым, непринужденным, светским жестом бессилия, новоприбывший восклицает:

— Да нет, никаких письменных приказов: не мне же давать их вам, посудите сами!

Он смеется.

— Я рекомендую вам только гражданский суд для поддержки духа армии. Я говорю только то, что видел, — ни больше, ни меньше.

В его красивом, звучном голосе отчетливо слышался оттенок

угрозы. Начальник штаба опустил голову. Чувствовалось, что происходит нечто неприемлемое для его бесхитростного прямодушия. Но ни он, ни даже сам генерал не мог бы противостоять этому прибывшему с секретными полномочиями миссионеру с пятью нашивками, этому тайному послу министерства.

Мне пришлось передернуть плечами, сжать кулаки и с ненавистью наблюдать всех этих князьков, опьяненных внезапной своей неограниченной властью. В тот же миг я почувствовал пронизывающий меня взгляд лейтенанта Лекто. Я отошел в сторону; мне стало не по себе от сознания, что я разгадан этим холодным и неподвижным, как пресмыкающееся, существом.

Я подхожу к генеральному плану. Мне хочется поглядеть на него после всего, что я видел. Мимоходом я слегка задеваю стремительно проходящего к двери докладчика. Он получил отпуск, который посвятит любовным похождениям. Шаги его легки какой-то крылатой легкостью, и он уже улыбается.

Генеральный план. Их здесь два, рядышком, совершенно одинаковых!

Один обрамлен трехцветной лентой, другой — черно-красной каемкой: это план, найденный на одном из пунктов немецкого штаба, наш трофей.

Сходство двух этих рельефных карт разительно. Вот они, — эти два игорных стола, на поле которых сделан был решающий ход — ход выигравшего и ход проигравшего игру — эти два станка, подготовительная работа которых была перенесена туда, туда, в залитые кровью пространства.

И тут я подавляю, заставляю смолкнуть клокочущее во мне против этих людей раздражение. Действительность несоразмерна с накопившейся в душе обидой.

Это враги солдат, но они выполняют свою роль.

Они правы, — эти агенты карательной власти, заполняя собою сверху донизу всю лестницу. Они правы, всячески поощряя унтер-офицеров, которые организуют, окружают и одушевляют боевое стадо. Они правы, питая иллюзиями ремесленников войны, искореняя тайно и без возможности обжалования, силой оружия, всякое недовольство и дух критики, скрывая от обреченных размеры уготованных им жертв, рассматривая солдат, как оловянных солдатиков, или даже как пешек, или даже, наконец, просто как геометрические точки, умаляя действительность или при-

бегая ко лжи, — они правы, культивируя свое военное ремесло во всей его полноте, во всей его грубости, во всем его вероломстве.

Генерал был назначен сюда для того, чтобы успешно провести наступление, стоившее миллиард, и это ему удалось. Они правы, когда сами уже не знают, что говорят, сами уже не знают, что делают, потому что сами они лишь повинуются, а им повинуется все.

* * *

Прибыл человек, имя которого оказывается многим у нас уже известно и о котором говорят, — мосье Клеман Массар. Генерал вышел ему навстречу с предупредительностью и даже почтительностью, не ускользнувшей ни от кого из окружающих.

Ему показали официальное сообщение. В одной фразе он велел прибавить слово «патриотический». Он проехал в автомобиле по некоторым участкам дороги. Он остановился посмотреть на мертвецов в сопровождении генерала, который извинился перед ним за дурной запах: «Ничего не поделаешь, — в этом уж они не виноваты, бедняги!» Он проявляет претензии, которые не по вкусу молодым офицерам, и вызывает у них улыбку, потому что он смешон со своим лишенным всякой звучности голосом, со своим лишенным растительности, испещренным белыми пузырьками лицом и двумя золотыми ободками — отвратительное украшение! — поддерживающими во рту его зубы... И вправду кажется, что он, как говорят, приехал в свое поместье. Можно подумать, что он приехал полюбоваться на свое детище.

Говорит он мало. Тем не менее своим пораженным хроническим ларингитом голосом он изрек: «Война за Право, Родину, Демократию», и «Счастье одних построено на несчастьи других». Он умилился также, увидев, как солдат жадно тянет из своей кружки водку: «Выпей, мой друг, испей иллюзии!» — ласково сказал он ему.

Знают ли они, с кем они имеют дело? Более опытные, более осведомленные могут догадаться, могут определить положение этого человека, владеющего огромным мировым состоянием, человека, оказавшегося удачливей других, шагающего по головам, господствующего над всем, даже над бранной славой; человека, для кого командующий корпусом армии или даже военный

министр — лишь маленький чиновник, которого можно поставить на место человека, представляющего собою в фантастической рамке цивилизации самого Аттилу.

И тем не менее он прав, этот человек, заставивший других видеть на нем некий отблеск божества и, в силу каких-то магических причин, повиноваться ему, — ему, поработившему природу и людей и всю индустрию чисел, богиню бойни, и науку, и религию, и человеческую мораль, и распространившему, под звуки рукоплесканий, убийство; ему, швыряющемуся миллионами людей и живущему миллионами смертей, тогда как всякий человек толпы несет с собой все, что у него есть, и впереди у него одна только смерть. Он прав, коль скоро ему повинуются; коль скоро в лачугах, хижинах и с высоты трибун все автоматы вторят ему: «Нет больше рабов, нет больше тиранов».

Правее его могли бы быть только те, кто в один прекрасный день, в великом пробуждении мудрости и гнева, восстали бы и проломили бы ему голову.

---

Редактор Н. Соболевский.
Технический редактор А. П. Кочнов.
Обложка худ. Е. Авалиани.

★

Уполномоченный Главлита Б-7745. Огиз
№ 465. X-21. Тираж 5000. Формат
бумаги 82×111 1/32. 1 бум. л.
по 149 760 зн. Сдана в набор
10 июля 1931 г. Подписана
к печ. 16 января 1932 г.
4 п. л. Зак. 2460.

★

# НОВИНКИ ИНОСТРАННОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

БЕХЕР И. Великий план. Поэма социалистического строительства. Перев. А. Ромм.
Стр. 215. Ц. 4 р. 50 к., перепл. 30 к.

Поэма посвящена описанию осуществления пятилетнего плана социалистического строительства в СССР, которому противопоставляются развал и безработица капиталистической Европы.

КНИГА БИЛЛЯ ХЕЙВУДА. Автобиография Вильяма Хейвуда. Перев. с англ. Д. Горбова со вступит. статьей Г. Андрейчина.
Стр. 360. Ц. 2 р. 65 к., перепл. 35 к.

Автобиография Хейвуда, одного из самых выдающихся вождей американского пролетариата, дает увлекательную летопись рабочего движения в САСШ за двадцать с лишним лет—с середины 90-х гг. до 1920 г.

ЧЕТНИКИ. Рассказы о современной Болгарии. Перевод с болгарского О. М. Говорухина. Ред. и вступит. статья Г. И. Бакалова.
Стр. 194. Ц. 1 р. 60 к.

Сборник составлен из рассказов болгарских революционных писателей (М. Марчевский, Ст. Лилянов, К. Парванов), посвященных классовым столкновениям в фашистской Болгарии. Тематический стержень сборника — разгром сентябрьского (1923) восстания крестьян и рабочих и разгул белого террора.

# НОВИНКИ ИНОСТРАННОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕЛЬ-ВАЛЬЕ-ИНКЛАН Р. Тиран Бандерас. Роман. Перев. с испанского Т. А. Гликмана. С предисл. Ф. Кельина. Стр. 237. Ц. 2 р., перепл. 35 к.

Автор — один из крупнейших мастеров современной испанской прозы. Роман о кровавой военной диктатуре и революции в некоем экзотическом южно-американском государстве Санта-Фэ-де-Тьерра-Фирме является замаскированным памфлетом против режима Примо-де-Риверы в Испании. (Роман вышел в 1926 г.)

ГОРДОН Д. Издевательство. Авторизов. перев. с рукописи В. Станевич. С предисл. С. Динамова. Стр. 88. Ц. 65 к.

Переживания американского комсомольца, приговоренного за сочинение революционных стихов к годичному тюремному заключению в исправдоме. В форме дневников и записей дается описание американского исправдома, тюремного режима, принудительных работ, издевательств тюремной администрации над заключенными, типы заключенных.

ТОЛЛИ Д. Тени людей. Роман. Перев. с англ. А. Кривцовой. Стр. 200. Ц. 1 р. 70 к.

Американский писатель Д. Толли, сравниваемый на родине с ранним Горьким, пишет о „хобо“, босяках, из среды которых он сам вышел. В 17 рассказах представлена целая галлерея бродяг, бандитов, пьяниц и кокаинистов, в большинстве недюжинных людей, но деклассированных и погрязших в уголовщине.

